

Мериена
де СТАЛЪ
Коринна,
или Италия



Жермена де Сталь

Коринна, или Италия

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6898511

Коринна, или Италия : роман / Жермена де Сталь: Эксмо; Москва;

2014

ISBN 978-5-699-72431-4

Аннотация

Мадам де Сталь – французская писательница, известная также политическими и историческими сочинениями, бывшая в оппозиции Наполеону, держательница светского салона, в котором бывали Талейран и Б. Констан, по словам А. С. Пушкина, ее «удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Европа своего уважения». «Коринна, или Италия» – это и красочный путеводитель по Италии и итальянскому искусству с яркими описаниями храмов, дворцов, праздников и обычаев, и роман о любви, о выборе между славой и любовью, затрагивающий и тему эмансипации.

«Любви нас не природа учит // А Сталь или Шатобриан» (Евгений Онегин. Пропущенные строфы. А. С. Пушкин).

Содержание

Книга первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	12
Глава третья	15
Глава четвертая	23
Глава пятая	32
Книга вторая	36
Глава первая	36
Глава вторая	44
Глава третья	50
Глава четвертая	61
Книга третья	65
Глава первая	65
Глава вторая	75
Глава третья	79
Конец ознакомительного фрагмента.	89
Комментарии	

Жермена де Сталь

Коринна, или Италия

Перевод романа выполнен по первому собранию сочинений де Сталь: *Oeuvres complètes*. Т. VIII–IX. Paris, 1820–1821. Первый русский перевод «Коринны» появился в 1809–1810 гг. в Москве в издании Университетской типографии. Имя переводчика не было указано. В дальнейшем несколькими изданиями вышел другой, тоже безымянный, перевод в «Новой библиотеке Суворина» (СПб., б. г.), (СПб., 18...), (СПб., 1900), (СПб., 1908).

Перевод с французского, комментарии *М. Черневич*

© Черневич М., перевод на русский язык, комментарии.
Наследники, 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

.....udrallo il bel paese
Ch'Apennin parte, e'l mar circonda e l'Alpe.

***Petrarka*¹**

¹ [...мои стихи услышит] прекрасная страна, которую разделяют Апеннины и окружают море и Альпы. *Петрарка*. Сонет CXLVI.

Книга первая

Освальд

Глава первая

Лорд Освальд Нельвиль, пэр Шотландии, собираясь провести зиму в Италии, выехал в конце 1794 года из Эдинбурга. У него была красивая благородная внешность, он отличался большим умом, принадлежал к высшей знати и владел независимым состоянием. Но тяжкая скорбь подорвала его здоровье, и врачи, опасаясь за его слабые легкие, советовали ему подышать воздухом Юга. Он послушался их совета, хоть и не слишком заботился о продлении своих дней. Все же он надеялся, что смена новых впечатлений, ожидавших его в путешествии, поможет ему рассеяться. Причиной его недуга была одна из самых глубоких наших горестей – утрата отца; злополучное стечение обстоятельств, муки раскаяния, обостренные до крайности развитым нравственным чувством, еще больше растравляли его душевную рану, в чем немалую роль играло и расстроенное воображение. Когда человек подавлен несчастьем, он легко убеждает себя, что сам виновен в своих бедствиях, а гнетущая тоска способна смутить даже чистую совесть.

В двадцать пять лет лорд Нельвиль тяготился жизнью; его рассудок судил обо всем предвзято, а болезненная чувствительность заранее отвергала все обольщения сердца. Никто не выказывал себя более снисходительным, более преданным другом, чем он, когда кому-нибудь требовалась его помощь, но ничто не доставляло ему удовлетворения, даже сделанное им добро; он всегда и с большою охотой приносил в жертву свои личные склонности ради ближних; однако не одним лишь великодушием объяснялось подобное самоотречение: нередко причина его таилась в унынии, наполнявшем душу Освальда и делавшем его равнодушным к собственной участи. Люди, безразлично к нему относившиеся, обращали к своей выгоде эту особенность его характера и находили ее весьма привлекательной; те же, кому был дорог Освальд, замечали, что, заботясь о чужом благе, для себя он не ждал ничего, и огорчались, не имея возможности воздать ему за то счастье, какое он им дарил.

А между тем натура у Освальда была живая, впечатлительная, страстная; он сам увлекался и был наделен всем, что могло увлечь других; но горе и встревоженная совесть внушили ему страх перед судьбой: он решил, что обезоружит ее, ничего от нее не требуя. В строгом выполнении своего долга, в отказе от жизненных усад он надеялся найти защиту от тревог и волнений; его страшили душевные муки, он полагал, что нет таких ценностей в мире, ради которых стоило бы подвергать себя опасности вновь испытать эти страдания.

Но если человек склонен испытывать душевные муки, какой образ жизни может от них оградить?

Лорд Нельвиль тешил себя надеждой, что покинет Шотландию без сожалений – ведь пребывание на родине не доставляло ему радости; но не так создано гибельное воображение пылких душ: он не подозревал, какие узы привязывали его к местам, где он так много пережил, – к его отчому дому. В этом доме были покои, к которым он не мог приблизиться без трепета; однако, удаляясь от них, он еще сильнее ощущал свое одиночество. Его сердце словно иссохло; он уже не в силах был проливать слезы, когда изнывал от горя; он утратил способность воскрешать в своей памяти мелочи семейного быта, которые раньше его так умиляли; воспоминания его потускнели: они были так далеки от всего, что окружало его; он, как и прежде, постоянно думал о том, кого все время оплакивал, но все труднее становилось ему вызывать в своем воображении облик покойного.

Порой Освальд корил себя за то, что покинул места, где жил его отец. «Кто знает, – говорил он себе, – дано ли теньям усопших следовать всюду за теми, кого они любили? Быть может, им дозволено блуждать лишь близ мест, где покоятся их останки? Может быть, в это мгновение мой отец тоже тоскует обо мне? Но нет у него сил призывать меня из такой дали. Увы! Стечение неслыханных обстоятельств заставило его при жизни увериться в том, что я пренебрег его нежной привязанностью ко мне, нарушил свой долг перед

отчизной, восстал против родительской воли, против всего святого на земле!» Эти мысли причиняли лорду Нельвилю такую нестерпимую боль, что он не только не мог ни с кем поделиться ими, но и сам боялся им предаваться. Ведь так легко причинить себе своими размышлениями непоправимое зло!

Особенно тягостно разлучаться с родиной, когда надо переплыть море, покидая ее. Торжественно путешествие, которое начинается с океанских просторов, так и чудится, что за спиной разверзается бездна и обратный путь уже отрезан навек! Впрочем, зрелище моря всегда производит сильное впечатление: словно возникает перед очами образ бесконечности, беспрестанно манящей к себе человеческую мысль, которая в ней бесследно теряется. Освальд стоял, опершись на кормило корабля, не сводя пристального взгляда с волн, и казался спокойным, ибо гордость, а вместе и робость почти никогда не позволяли ему открывать свои чувства – даже друзьям. Но его волновали мрачные думы. Освальд вспоминал юность, когда один лишь вид моря вызывал в нем стремление помериться с ним силами и он без оглядки бросался вплавь, рассекая волны руками. «Для чего, – с горечью говорил он себе, – непрестанно предаваться размышлениям? Ведь столько наслаждения в деятельном существовании, в этой яростной борьбе, дающей ощущение могучей силы жизни! Тогда и сама смерть, быть может, становится славным подвигом: она настигает внезапно, ей не предшествует уга-

сание. Но смерть, что приходит не по зову храбреца, а прокрадывается к нам потихоньку, в потемках, в долгие ночные часы отнимая у нас понемногу самое дорогое, не внемля нашим жалобам, отталкивая нашу руку и беспощадно направляя против нас вечные законы природы и времени, — такая смерть вселяет в нас презрение к судьбе человека, к бесплодности его страданий, к тщетным попыткам сопротивления, которые разбиваются о неизбежность».

Вот какие чувства обуревали Освальда; его состояние было тем мучительнее, что живость молодости соединялась в нем с привычкой к размышлениям, присущим иному возрасту. Он проникался мыслями, которые, должно быть, приходили в последние дни жизни к его отцу, но в меланхолические раздумья старости вносил пыл своих двадцати пяти лет. Он был ко всему безучастен, однако сожалел о счастье, будто у него еще сохранялись какие-то иллюзии. Такое противоречие, столь противное велениям природы, требующей согласованности и последовательности в естественном ходе вещей, приводило в смятение Освальда; однако его обхождение с людьми оставалось спокойным и ровным, а тихая грусть, далекая от дурного расположения духа, сообщала его характеру еще больше доброты и благожелательности.

Несколько раз при переходе из Гарвича в Эмден море угрожало бурей; лорд Нельвиль помогал советами матросам, подбадривал пассажиров, а когда сам брался за штурвал, заменяя на время рулевого, то обнаруживал большую силу и

сноровку – и не только потому, что был от природы ловок и подвижен, но и потому, что вкладывал душу во все, что ни делал.

Когда пришла пора расставаться, вся команда корабля окружила Освальда, желая с ним проститься; его благодарили за множество разных услуг, о которых он уже позабыл: то он часами играл с малым дитятей, то поддерживал старца во время качки... Подобное отсутствие себялюбия весьма редко встречается; целый день проходил так, что он совсем забывал о себе: он весь принадлежал людям, объятый тоскою и любовью к ним. Прощаясь с Освальдом, матросы в один голос твердили: «Да пошлет вам Бог больше счастья, дорогой наш милорд!» Между тем он ничем не выдал своего горя, и спутники его круга ни словом не обмолвились с ним об этом. Но простолюдины, с которыми редко бывают откровенны вышестоящие, привыкли без слов понимать чужие чувства; они сострадают вам, когда вы горюете, хотя и не знают причины ваших печалей; участие их непритворно, в нем нет и тени желания вас порицать или поучать.

Глава вторая

Что бы ни говорили, но путешествие – одно из самых грустных удовольствий. Если вам хорошо в иноземном городе, это значит, что вы уже понемногу сроднились с ним; но проезжать через незнакомые страны, слышать едва понятный язык, видеть лица, не связанные ни с вашим прошлым, ни с будущим, – это значит испытывать полное одиночество, но не знать ни отдыха, ни душевного покоя. Вечная поспешность, стремление поскорее попасть туда, где никто вас не ждет, суeta и хлопоты, единственной целью которых является удовлетворение любопытства, подрывают ваше уважение к себе, пока чужая обстановка не утратит хоть немного своей необычности и ваши пристрастия и привычки не создадут для вас новых приятных уз.

Тоска Освальда удвоилась, когда он проезжал по Германии, направляясь в Италию. Шла война, и приходилось избегать близости Франции и пограничных с ней местностей^[1]; приходилось держаться и в стороне от армий, затруднявших движение на дорогах. Необходимость заниматься неизбежными дорожными мелочами и принимать каждый день и почти каждый час новые решения удручала лорда Нельвиля. Его здоровье, отнюдь не улучшившееся, вынуждало его к частым остановкам, меж тем ему хотелось ехать дальше и достичь наконец места своего назначения. Он кашлял кровью и

совсем не следил за собой; считая себя виноватым, он осуждал себя с чрезмерной суровостью. Жить, по его мнению, стоило лишь для того, чтобы защищать свою страну. «Разве отчизна, – говорил он себе, – не имеет на нас родительских прав? Однако отчизне надобно служить с пользой для нее, к чему ей жалкое существование, какое я сейчас влачу, собираясь вымалывать у солнца крохи жизненных сил для борьбы против моих недугов? Лишь родной отец может принять сына в таком состоянии и тем сильнее любить его, чем горше он обижен природой и судьбой».

Лорд Нельвиль не оставлял надежду, что разнообразие дорожных впечатлений отвлечет его несколько от привычных мыслей; но было еще далеко до желанной цели. После большого несчастья приходится вновь осваиваться с окружающей обстановкой, свыкаться с лицами, которых видишь снова, с домом, в котором живешь, с повседневными занятиями, к которым должен вернуться. Каждое такое усилие дорого стоит человеку, а сколько подобных усилий надобно делать в пути!

Единственным развлечением лорда Нельвиля были прогулки в горах Тироля верхом на лошади, которую он вывез из Шотландии. Как все лошади этой страны, она поднималась вскачь на горные вершины, и он обычно выбирал самые крутые тропинки, оставляя в стороне большую дорогу. Изумленные крестьяне испуганно вскрикивали, увидев всадника на краю пропасти, но потом хлопали в ладоши, восхи-

щаясь его ловкостью, отвагой, проворством. Освальд любил смотреть в глаза опасности: это ощущение облегчало бремя его горести, на мгновение примиряло с жизнью, которую так легко было потерять и которую он и на сей раз отстоял у смерти.

Глава третья

Перед отъездом из города Инсбрука в Италию Освальд слышал от негоцианта, у которого он некоторое время проживал, историю одного французского эмигранта, весьма располагавшую в его пользу. Граф д'Эрфейль, как звали этого человека, с совершенной невозмутимостью перенес потерю огромного состояния; с помощью своего музыкального дарования он зарабатывал на хлеб себе и своему престарелому дяде, за которым заботливо ухаживал до самой его кончины; он постоянно отказывался от денег, которые многие ему предлагали; во время войны он отличался блистательной, чисто французской отвагой и встречал все невзгоды с неизменной веселостью; сейчас граф д'Эрфейль намеревался поехать в Рим, отыскать там своего родственника, чьим наследником он был, и желал найти себе спутника или, вернее, друга, чтобы как можно приятнее совершить свое путешествие.

С Францией у Освальда были связаны самые горестные воспоминания; однако он был далек от предрассудков, разъединяющих два народа, и его близким другом был француз, в котором он находил превосходное соединение высоких душевных качеств. Вот почему, обратившись к негоцианту, поведавшему ему историю графа д'Эрфейля, Освальд изъявил готовность взять с собой в Италию этого благород-

ного и несчастного молодого человека. Не прошло и часа, как негоциант сообщил лорду Нельвилю, что его предложение с признательностью принято. Освальд был счастлив, что мог предложить французу свои услуги; но ему было нелегко отказаться от уединения, преодолеть свою застенчивость и внезапно очутиться в обществе совершенно незнакомого ему человека.

Граф д'Эрфейль явился к лорду Нельвилю лично его поблагодарить. Он отличался изящными манерами, был учтив без всякой чопорности и с самого начала знакомства держался с полной непринужденностью. Нельзя было не подивиться, глядя на этого человека, претерпевшего столько бед; он с таким мужеством принимал удары судьбы, что, казалось, просто не помнил о них; легкий тон, каким он говорил о своих злоключениях, придавал особую прелесть его беседе, правда, до тех пор, пока речь не заходила о других предметах.

– Я вам чрезвычайно признателен, милорд, – сказал граф д'Эрфейль, – за то, что вы увозите меня с собой из Германии^[2], где я был готов умереть от скуки.

– Однако здесь вас все любят и почитают, – ответил лорд Нельвиль.

– У меня здесь есть друзья, – продолжал граф д'Эрфейль, – и я расстаюсь с ними с искренним сожалением; в этой стране можно встретить прекраснейших людей; но я не знаю ни слова по-немецки, и согласитесь, что изучение

этого языка потребовало бы немало усилий и было бы для меня утомительно. С тех пор как я имел несчастье потерять своего дядюшку, я не знаю, как убить время; когда мне надо было ухаживать за ним, день мой был заполнен, а сейчас двадцать четыре свободных часа ложатся на меня невыносимым бременем.

– Нежное внимание, какое вы проявляли по отношению к вашему дяде, – сказал лорд Нельвиль, – вызывает самое глубокое уважение к вам.

– Я выполнял лишь свой долг, – возразил граф д’Эрфейль. – Бедняга осыпал меня благодеяниями, когда я был ребенком; я никогда не покинул бы его, доживи он хоть до ста лет! Счастье его, что он умер; пожалуй, такой конец был бы счастьем и для меня, – добавил он, смеясь, – у меня мало надежд в этом мире. Я старался изо всех сил, чтобы меня убили на войне, но уж раз судьба пощадила меня, надобно жить по возможности приятнее!

– Я благословил бы мой приезд сюда, – ответил лорд Нельвиль, – если бы вам было хорошо в Риме и если бы...

– Бог ты мой! – перебил его граф д’Эрфейль. – Мне везде будет хорошо: когда человек молод и весел, все улаживается! Мою философию я почерпнул не из книг и размышлений: меня многому научило общение с людьми и привычка переносить несчастья; и вы сами видите, милорд, я имею основания надеяться на случай – ведь он мне доставил возможность совершить путешествие вместе с вами.

С этими словами граф д'Эрфейль с величайшей грацией поклонился лорду Нельвилю и, условившись с ним о часе отъезда, удалился.

На следующий день граф д'Эрфейль и лорд Нельвиль отправились в путь. Обменявшись со своим спутником двумя-тремя фразами, которых требовала простая вежливость, Освальд в продолжение нескольких часов не произнес ни слова; однако, заметив, что молчание тяготит графа, он спросил, радуется ли того, что он едет в Италию.

– Бог ты мой! – сказал граф д'Эрфейль. – Я знаю, чего мне ожидать от этой страны: я отнюдь не рассчитываю там развлекаться. Один из друзей моих, проживший в Италии полгода, рассказывал мне, что во Франции нет ни одного провинциального городка, где бы не было более порядочного театра и более приятного общества, чем в Риме; но, без сомнения, в этой древней столице мира я найду несколько французов, с кем смогу поболтать, и это все, что мне надо.

– И у вас никогда не было охоты изучать итальянский язык? – прервал его Освальд.

– Никогда, – ответил граф д'Эрфейль, – это не входило в план моих занятий.

И он принял при этих словах столь важный вид, что можно было подумать, будто решение его основано на самых веских мотивах.

– Если вам угодно знать, – продолжал граф д'Эрфейль, – из всех наций я признаю только французов и англичан; на-

добно быть такими гордыми, как вы, или же блистать, подобно нам, все прочее – лишь подражание.

Освальд замолчал; граф д'Эрфейль через несколько минут возобновил разговор, пересыпая его веселыми шутками и остротами. Он весьма искусно играл словами и фразами, но ни явления внешнего мира, ни сердечные чувства не были предметом его речей. В своей беседе он не проявлял ни глубины мысли, ни богатства воображения, и главным ее содержанием были события и связи большого света.

Он упомянул десятка два имен, известных во Франции и в Англии, чтобы узнать, знакомы ли они лорду Нельвилю, и очень мило рассказал по этому поводу несколько пикантных анекдотов; прослушав его, можно было подумать, что единственный разговор, приличествующий человеку со вкусом, – это пересуды и сплетни, которые ведутся в дружеской компании.

Лорд Нельвиль задумался над характером графа д'Эрфейля. Какое причудливое смешение стойкости и легкомыслия! Это презрение к жизненным бедам можно было бы счесть великим достоинством, если бы оно стоило больших усилий; в нем было бы даже нечто героическое, если бы оно не происходило из того источника, который лишает людей способности к глубоким привязанностям. «Англичанин, – говорил себе Освальд, – в подобных обстоятельствах был бы удручен печалью. Где черпает силы этот француз? Откуда эта гибкость его натуры? Не ведомо ли и вправду графу д'Эрфейлю

искусство жить? Не значит ли, что я попросту болен, когда почитаю себя выше его? Быть может, его легкомысленное существование скорее отвечает законам быстротечной жизни, нежели мое? И не надлежит ли вместо того, чтобы всею душой предаваться размышлениям, избегать их, как опасного врага».

Но если бы Освальд и разрешил свои сомнения, это бы ни к чему не привело: никому не дано выйти за пределы предначертанной ему духовной сферы, а подавлять свои достоинства еще труднее, чем недостатки.

Граф д'Эрфейль нимало не интересовался Италией и всячески отвлекал лорда Нельвиля, не давая ему возможности проникнуться всем очарованием этой прекрасной живописной страны. Освальд настороженно прислушивался к шуму ветра, к журчанию волн: голоса природы давали больше радости его душе, чем разговоры о светском обществе, которые велись и у подножья Альп, и среди руин, и на морском берегу.

Удовольствию, какое Освальд мог бы вкусить от знакомства с Италией, препятствовала не столько снедавшая его тоска, сколько веселость графа д'Эрфейля; душе, открытой всем впечатлениям, скорбь не мешает любоваться природой и наслаждаться искусствами; но легкомыслие, под какой бы личиной оно ни выступало, отнимает у внимания его напряженность, у мысли ее самобытность, у чувства его глубину. Одним из странных следствий этого легкомыслия была ро-

бость, которая овладевала лордом Нельвилем в присутствии графа д'Эрфейля: почти всегда смущение испытывает тот, в чьем характере больше серьезности. Блестящая легкость ума ослепляет созерцательные натуры, и тот, кто уверяет, что он счастлив, кажется более мудрым, нежели тот, кто страдает.

Граф д'Эрфейль был мягок, любезен, покладист, глубоко-мыслие проявлял лишь в вопросах самолюбия и был достоин любви в той мере, в какой сам был способен любить, то есть как хороший товарищ в забавах и опасностях; но он не понимал, что значит разделять чужие горести. Ему докучала меланхолия Освальда, и по доброте сердечной, а также по своей жизнерадостности он хотел бы ее развеять.

– Чего вам недостает? – нередко спрашивал он Освальда. – Ведь вы молоды, богаты и, если угодно, здоровы, ибо вы больны лишь оттого, что грустите. Я потерял богатство, все, чем держалась моя жизнь; я не знаю, что меня ждет, и все-таки я наслаждаюсь жизнью, словно владею всеми сокровищами земли.

– Вы обладаете мужеством, столь же необычайным, сколь и достойным уважения, – отвечал лорд Нельвиль, – но невзгоды, которые вы испытали, причиняют меньше страданий, нежели сердечные печали!

– Сердечные печали! – воскликнул граф д'Эрфейль. – О, это верно. Это самые жестокие из... Но... но... и от них можно исцелиться, ибо человек рассудительный должен отгонять от себя все, что не может служить на пользу ни ему

самому, ни другим. Не для того ли мы живем на земле, чтобы прежде всего быть полезными, а лишь затем счастливыми? Мой дорогой Нельвиль, ограничимся этим!

Слова графа д'Эрфейля были вполне справедливы с точки зрения обычного здравого смысла: ведь он был во многих отношениях весьма неглуп, да и натуры легкомысленные менее склонны к безумствам, нежели натуры страстные; но образ мыслей графа д'Эрфейля был чужд лорду Нельвилю, и он готов был уверить своего спутника, что почитает себя счастливейшим из смертных, лишь бы избавиться от его утешений.

При всем том граф д'Эрфейль очень привязался к лорду Нельвилю: его покорность судьбе, простота в обращении, скромность и гордость внушали невольное уважение к нему. Внешняя сдержанность Освальда глубоко задевала графа д'Эрфейля; он старался припомнить поучения своих престарелых родителей, слышанные им еще в детстве, чтобы хоть как-нибудь воздействовать на своего друга; удивляясь тому, что никак не может побороть видимую его холодность, граф д'Эрфейль говорил себе: «Разве мало во мне сердечной прямоты, храбрости? разве я не бываю занимателен в обществе? Чего же недостает мне, чтобы расположить к себе этого человека? Не произошло ли между нами какое-нибудь недоразумение оттого, что он не совсем хорошо владеет французским языком?»

Глава четвертая

Неожиданный случай еще больше усилил в графе д'Эрфейле то чувство почтения, которое он, почти безотчетно, питал к своему спутнику. Состояние здоровья лорда Нельвиля вынудило его остановиться на несколько дней в Анконе. Этот городок живописно расположен на берегу моря у склона горы, а множество греков, работающих сидя перед своими лавками, поджав под себя ноги по восточному обычаю, и пестрая одежда снующих по улицам жителей Леванта^[3] придают всей местности весьма любопытный и своеобразный вид. Развитие цивилизации неизбежно приводит к тому, что между людьми появляется сходство – и не только во внешнем облике. Однако воображение и разум пленяются именно тем, что отличает народы один от другого. Люди становятся однообразными лишь тогда, когда их чувства притворны, а поступки заранее рассчитаны; все же то, что естественно, – разнообразно. Вот почему разнообразие одежды доставляет нам удовольствие: оно ласкает наш взор, предвещая знакомство с новой манерою мыслить и ощущать.

Православное, католическое и иудейское вероисповедания мирно уживаются рядом в Анконе. Хотя обряды этих религий резко различны, из уст всех верующих возносится к небу один и тот же горестный вопль, одна и та же мольба о помощи.

На крутой вершине горы прямо над морем высится католическая церковь, и шум волн там часто сливается с песнопениями священнослужителей. Внутри она испорчена множеством довольно безвкусных украшений, но открывающийся с портика храма величественный вид на море, на котором человек никогда не мог запечатлеть свой след, невольно вызывает в душе религиозное чувство, самое чистое, какое она способна испытывать. Человек избородил плугом землю, проложил тропы в горах, отвел из рек воду в каналы, чтобы возить по ним свои товары, но стоит лишь кораблю на миг вспенить морскую гладь, как набежавшие волны спешат тотчас же стереть сей слабый знак подчинения, и море вновь становится таким, как в первый день творения.

Лорд Нельвиль уже собирался выехать из Анконы в Рим, как вдруг ночью, накануне отъезда, услышал душераздирающие крики, доносившиеся из города. Он быстро вышел из гостиницы, желая узнать, что случилось, и увидел пожар, который вспыхнул в порту, а затем, разгораясь все сильнее и сильнее, уже добирался до верхней части города. Вдали на море дрожали отблески пламени; поднявшийся ветер раздувал огонь, колыхая его отражение в воде, и вздыбившиеся волны дробили на тысячу бликов кровавые отсветы мрачного зарева.

Жители Анконы не имели сколько-нибудь годных пожарных насосов и могли помочь своей беде лишь голыми руками. Сквозь шум и крики слышался лязг кандалов – это шли

каторжники, которых заставили трудиться для спасения города, ставшего им тюрьмой. Разноплеменные сыны Леванта, привлеченные в Анкону торговыми делами, оцепенели от испуга и глядели перед собой остановившимся взглядом. При виде лавок, объятых пламенем, купцы совершенно потеряли голову. Беспокойство за свое имущество волнует большинство людей не менее, нежели страх смерти, но не вызывает в них того душевного подъема и энергии, при которых только и можно найти выход из бедственного положения.

В протяжных криках матросов всегда есть нечто заунывное, а тревога делает их совсем зловещими. Из-под причудливых красновато-коричневых капюшонов виднелись выразительные физиономии итальянских моряков с Адриатического побережья, сейчас искаженные гримасами ужаса.

Жители города бросались на землю, закутавшись с головой в плащи, словно им больше ничего не оставалось, как спрятаться от беды; были и такие, что сами кидались в огонь, отчаявшись спастись; на лицах можно было прочесть выражение ярости или безнадежной покорности судьбе, но ни у кого не было того хладнокровия, какое умножает силы и способности человека.

Освальд припомнил, что в гавани стояли два английских корабля, на борту которых были отличные пожарные насосы; он бросился к капитану, и они вместе отправились за ними. Когда оба садились в шлюпку, горожане кричали им вслед:

– Вы правильно делаете, чужестранцы, что покидаете наш

злосчастный город!

— Мы вернемся обратно! — отвечал Освальд, но ему не поверили.

Однако он вернулся и установил один насос у дома, который первым загорелся в порту, а другой — у дома, пылавшего посередине улицы. Граф д'Эрфейль беспечно рисковал своей жизнью с обычными для него мужеством и веселостью; английские матросы и слуги лорда Нельвиля прибежали ему на помощь, меж тем как жители Анконы не трогались с места, едва понимая, что хотят делать эти чужестранцы, и ничуть не веря в успех их стараний.

По всему городу звонили колокола; священники устраивали крестные ходы; женщины плакали, распростершись перед статуями святых, стоявшими в нишах на углах улиц; но никому не приходило в голову обратиться к земным средствам, которые Бог даровал людям для их защиты. Однако, когда горожане убедились, что усилия Освальда не пропали даром, что пожар затухает и домам их уже не грозит гибель, изумление сменилось восторгом; они окружили лорда Нельвиля и целовали ему руки с таким жаром, что он вынужден был гневно прикрикнуть на них, дабы никто не мешал быстрым выполнениям его приказов и решительным действиям, необходимым для спасения города. Все жители Анконы теперь встали под его команду, ибо при любых обстоятельствах — и незначительных, и важных — там, где появляется опасность, появляется и храбрость, а когда страх охватывает

всех, люди перестают чуждаться друг друга.

В несмолкаемом гуле голосов Освальд расслышал пронзительные крики, доносившиеся с другого конца города. На его вопрос, откуда эти крики, ему ответили, что они несутся из еврейского квартала. Полицейский чиновник, по своему обыкновению, запер на ночь ворота этого квартала, и теперь, когда огонь уже приближался, евреи не могли оттуда выбраться. Освальд вздрогнул при мысли об этом и потребовал, чтобы тотчас открыли ворота; услышав его слова, несколько женщин из народа упали перед ним на колени, заклиная его отменить свое приказание.

— Разве вы не видите, наш ангел-хранитель, — твердили они, обращаясь к нему, — что мы пострадали из-за евреев? Они нам приносят беду: если вы их выпустите, в море недостанет воды, чтобы затушить пожар.

И они так горячо, с такой искренней убежденностью молили его оставить евреев погибнуть в огне, словно речь шла о милосердном поступке. Это были вовсе не злые женщины, но суеверные, а бедствие, которое обрушилось на их головы, еще больше расстроило их воображение. Освальд с трудом сдерживал негодование, слыша эти дикие просьбы.

Он отправил четырех английских матросов с топорами в руках сломать ворота, преграждавшие выход несчастным, и те тотчас устремились в город; спасая свои товары, они бросались в огонь и проявляли такую алчность, в которой есть нечто жуткое, когда она заставляет презирать и самое

смерть. Можно подумать, что при нынешнем состоянии общества жизнь человека сама по себе не имеет никакой ценности.

В верхней части города в конце концов остался лишь один горящий дом, но пламя охватило его таким тесным кольцом, что невозможно было его погасить и тем более – проникнуть внутрь. Жители Анконы выказывали такое равнодушие к этому дому, что английские матросы, считая его нежилым, отвезли пожарные насосы обратно на корабль. Освальд, оглушенный криками взывавших о помощи, сначала и сам не обратил на это внимания. Огонь занялся на той стороне позднее, но очень быстро разгорался. Когда же лорд Нельвиль с живостью спросил, что это за дом, ему ответили, что это госпиталь для умалишенных. При этих словах он содрогнулся от ужаса и оглянулся вокруг, но ни матросов, ни графа д'Эрфейля не было и в помине. Обращаться за помощью к местным жителям было бесполезно: почти все они были заняты спасением своих товаров, к тому же они почитали нелепым подвергать свою жизнь опасности ради неизлечимо больных людей.

– Если сумасшедшие помрут и никто в этом не будет виновен, – говорили они, – то будет милость Господня для них и для их родных.

Не слушая этих разговоров, Освальд быстрыми шагами направился к госпиталю, а толпа, только что осуждавшая его, двинулась за ним, объятая невольным и смутным чувством

восхищения. Освальд подошел к дому и увидел в единственном окне, свободном от огня, лица больных: они, осклабясь, следили за пожаром, и их леденящий душу смех наводил на мысль либо об их полном неведении жизненных зол, либо о столь глубоких душевных мучениях, когда никакая смерть уже не страшна. При этом зрелище Освальда бросило в дрожь: в минуты тяжкого отчаяния он тоже бывал близок к умопомешательству, и с тех пор вид безумца всегда вызывал в нем глубокую жалость. Он схватил лестницу, стоявшую внизу, приставил ее к стене, поднялся по ней, окруженный пламенем, и проник через окно в палату, где собрались горемыки, оставшиеся в госпитале.

Они не были буйными и пользовались правом свободно ходить по дому, за исключением одного, который сидел на цепи в этой самой палате, где, пробиваясь сквозь дверь, уже показался огонь, пока еще не затронувший пола. Неожидавшее появление Освальда так поразило и восхитило эти жалкие существа, изнуренные болезнью и страданиями, что сперва они беспрекословно подчинились ему. Пропустив больных вперед, он приказал им сойти друг за другом по лестнице, готовой загореться в любое мгновение. Покоренные голосом и лицом Освальда, первые двое без звука повиновались ему. Третий начал сопротивляться, не сознавая, как опасна для него каждая минута промедления и чему он подвергает Освальда, задерживая его наверху. Из толпы, понимавшей весь ужас положения лорда Нельвиля, кричали,

чтобы он вернулся назад, бросив безумцев на произвол судьбы; но их избавитель и слушать ничего не хотел, покамест не выполнит своего великодушного замысла.

Из шести несчастных, находившихся в госпитале, пятеро были уже спасены; оставался только шестой – прикованный цепью к стене. Освободив его, Освальд пытался внушить ему, чтобы он последовал за своими товарищами; однако бедный малый лишен был и тени рассудка: отделавшись от цепи, на которой он просидел два года, он начал неистово кружиться по палате. Но его радость превратилась в бешенство, как только Освальд захотел принудить его выбраться через окно. Видя, что пламя бушует вокруг все яростнее и нельзя убедить сумасшедшего спасти свою жизнь, лорд Нельвиль схватил его в охапку и, хотя тот отбивался, силою вытащил из палаты. Дым так застилал глаза Освальду, что он спускался со своей ношей, не видя, куда ступает; с последних ступенек лестницы он спрыгнул наудачу и передал безумца, осыпавшего его бранью, стоявшим рядом людям, взяв с них обещание позаботиться о нем.

Возбужденный только что пережитой опасностью, с разметавшимися волосами и сияющим гордостью кротким взором, Освальд вызвал восхищение толпы, глядевшей на него чуть ли не с фанатическим обожанием. Особенно пылко восторгались им женщины, выражавшиеся тем образным языком, который является почти всеобщим даром в Италии и придает благородство простонародной речи. Бросаясь перед

ним на колени, женщины кричали:

– Мы знаем, ты архангел Михаил, защитник нашего города! Разверни свои крылья, но не покидай нас: взлети на соборную колокольню, пусть все тебя видят и молятся тебе!

– Мой ребенок болен, – говорила одна. – Исцели его!

– Скажи мне, – спрашивала другая, – где мой муж? Вот уже два года, как он пропал без вести.

Освальд старался куда-нибудь скрыться. Тут к нему подошел граф д'Эрфейль и, пожимая ему руки, сказал:

– Дорогой Нельвиль, надо было хоть что-нибудь оставить и на долю друзей, нехорошо брать на себя одного все опасности!

– Выведите меня отсюда! – тихонько попросил его Освальд.

Воспользовавшись наступившей темнотой, оба поспешно отправились нанимать почтовых лошадей.

Сначала лорд Нельвиль испытывал некоторое удовлетворение от сознания, что он совершил доброе дело; но с кем поделиться своей радостью, раз его лучшего друга не стало? О, горе сиротам! Счастливые события, как и огорчения, еще сильнее дают почувствовать душевное одиночество. И в самом деле, что заменит нам привязанность, родившуюся вместе с нами, это взаимное понимание, эту кровную близость, эту дружбу между отцом и сыном, уготованную Небом? Допустим, мы снова полюбим, но любить человека, которому можно излить свою душу, – это невозвратимое счастье.

Глава пятая

Освальд проехал через границу Анконы и всю Папскую область до самого Рима, ничего не замечая, ни на что не обращающая внимания; виною этому были его грустное настроение и то уже привычное состояние душевной апатии, от которой его пробуждали только сильные потрясения. Вкус к изящным искусствам у него еще не был развит; до сих пор он бывал лишь во Франции, где средоточием жизни является общество, и в Лондоне, где люди почти целиком поглощены политическими интересами; погруженный в свои горести, он не поддавался очарованию природы и великих произведений искусства.

Граф д'Эрфейль бегал по городам с путеводителем в руках, получая при этом двойное удовольствие: он тратил свое время на то, чтобы сперва все увидеть, а затем уверять, что для человека, знакомого с Францией, в Италии смотреть совершенно не на что. Скучающий вид графа д'Эрфейля нагонял тоску на Освальда; впрочем, и у него было предубеждение против Италии и итальянцев: ему еще не открылась душа этой страны и ее народа – тайна, которую можно скорее постигнуть с помощью воображения, чем здравого смысла, занимающего столь важное место в системе английского воспитания.

Итальянцы гораздо более замечательны своим прошлым и

своим возможным будущим, нежели тем, каковы они сейчас. Если смотреть лишь с точки зрения пользы на безлюдные окрестности Рима, с их почвой, истощенной веками славы и словно из презрения переставшей рождать, то, кроме опустелой, невозделанной земли, ничего не увидишь. На Освальда, воспитанного с детства в любви к порядку и общественному благоустройству, заброшенная равнина, возвещавшая о близости древней столицы мира, с самого начала произвела невыгодное впечатление, и он укорял в нерадивости итальянский народ и его правителей. Лорд Нельвиль судил об Италии как просвещенный государственный деятель, а граф д'Эрфейль – как светский человек: первый был слишком глубокомыслен, а второй – слишком легкомыслен, чтобы почувствовать неизъяснимую прелесть Римской Кампании^[4], которая поражает воображение, вызывая в памяти предания далекой старины и великие бедствия, выпавшие на долю этого прекрасного края.

Граф д'Эрфейль препотешно жаловался, браня на чем стоит свет окрестности Рима.

– Где это видано? – повторял он. – Ни загородных вилл, ни колясок, – никак не подумаешь, что мы подъезжаем к большому городу! Бог ты мой! Что за унылый вид!

Приблизившись к Риму, кучера в восторге закричали: – Смотрите, смотрите, вот купол собора Святого Петра! – С таким же выражением гордости неаполитанцы указывают на Везувий, а приморские жители – на море.

– Как он похож на купол Дома инвалидов!^[5] – воскликнул граф д'Эрфейль.

Это сравнение, в котором было больше патриотизма, нежели справедливости, сразу нарушило то впечатление, какое могло бы произвести на лорда Нельвиля это дивное создание человеческого гения. Они приехали в Рим не в солнечный день и не лунной ночью, а в серые сумерки, когда при хмуром освещении все предметы кажутся тусклыми. Они переправились через Тибр, даже не взглянув на него, и въехали в город через Народные ворота, откуда дорога ведет на Корсо, самую большую улицу в новейшей части Рима, – части наименее своеобразной, напоминающей многие столицы Европы.

На улицах прогуливались толпы народа; на площади, где возвышается колонна Антонина^[6], любопытные теснились вокруг фокусников и кукольных балаганчиков. Все это привлекло внимание Освальда. Однако само имя Рима еще не вызывало отклика в его душе; он ощущал лишь безмерное одиночество, от которого разрывается сердце, когда попадаешь в чужой город и видишь множество чужих людей, кому нет до тебя дела. Подобные размышления, грустные для всех, особенно тяжелы для англичан, которые привыкли жить среди соотечественников и с трудом приноравливаются к иноземным нравам. А в огромном караван-сарае, именуемом Римом, все кажутся иноземцами, даже сами римляне – словно они не исконные жители этого города, но «пили-

гримы, которые отдыхают под сенью руин»^[7]. Подавленный горьким чувством, Освальд заперся у себя в комнате и не пошел осматривать город. Он и не подозревал, что эта страна, порог которой он переступил с такою тоской, станет для него источником новых мыслей и новых наслаждений!

Книга вторая

Коринна на Капитолии

Глава первая

Освальд проснулся в Риме. Яркое солнце, солнце Италии, засияло ему прямо в глаза, и сердце его дрогнуло от любви и благодарности к небу, которое посылало на землю свои дивные лучи, словно желая напомнить о себе. По городу плыл колокольный звон бесчисленных церквей; время от времени раздавались пушечные выстрелы; они оповещали о праздничном событии; на вопрос Освальда, в чем причина торжества, ему отвечали, что нынешним утром на Капитолии будут венчать лаврами Коринну, самую знаменитую женщину Италии, – поэтессу, писательницу, импровизаторшу и одну из первых в Риме красавиц. Он стал расспрашивать о подробностях этой церемонии, освященной именами Петрарки и Тассо^[8], и то, что он услышал, еще сильнее возбудило его любопытство.

Трудно представить себе нечто более противное привычным понятиям и убеждениям англичанина, чем столь широкая известность женщины; однако энтузиазм, с каким итальянцы приветствуют творческий дар, увлекает, хотя бы

ненадолго, и иностранцев: живя среди народа, так бурно выражающего свои чувства, легко порою забыть предрассудки своей родины. В Риме даже простолюдины разбираются в искусствах и со знанием дела толкуют о статуях; картины, монументы, памятники древности, литературные заслуги — любое выдающееся явление искусства становится там предметом всенародного внимания.

Освальд вышел на площадь; кругом только и говорили, что о Коринне, ее талантах, ее гении. Улицы, по которым она должна была проехать, украсили флагами. Толпа, обычно собирающаяся там, где появляются богачи или сильные мира сего, сейчас горела нетерпением увидеть женщину, единственной силой которой было ее духовное превосходство.

При современном положении дел итальянцам осталась возможность искать себе славы лишь на поприще искусств. Они воздают своим даровитым художникам такие почести, что, если бы одних оваций было достаточно, в Италии оказалось бы множество великих мужей; но для этого требуется независимое существование, дающее пищу уму, — одним словом, жизнь, полная энергической деятельности и высоких интересов.

Освальд бродил по улицам в ожидании появления Коринны. Поминутно слышалось ее имя; каждый старался прибавить нечто новое к рассказам о том, что в ней соединились все таланты, способные пленять воображение. Один говорил, что во всей стране не найти такого проникновенного

голоса; другой уверял, что никто лучше ее не играет в трагедии; третий утверждал, что она танцует как нимфа, а рисунки ее необычайно изящны и полны затейливой выдумки; все вместе сходились, однако, на том, что никто до нее не писал и не импровизировал таких дивных стихов и что в самой простой беседе она покоряет умы то непринужденностью своего разговора, то пламенным красноречием. Шли споры, который из городов Италии имеет право называться ее родиной; римляне с жаром доказывали, что надобно быть уроженкою Рима, чтобы так чисто говорить по-итальянски. Никто не знал ее фамилии. Ее первая поэма, появившаяся лет пять тому назад, была подписана лишь именем Коринны. Никому не было известно, где она жила прежде и чем занималась; сейчас ей было около двадцати шести лет. Таинственность, окружавшая столь известную женщину, о которой говорили положительно все, но настоящего имени которой не знал никто, представилась лорду Нельвилю одной из чудесных особенностей той удивительной страны, куда он попал. Доведись ему встретить такую женщину в Англии, он бы строго осудил ее; но к Италии он не применял никаких условных общественных мерок, и обряд венчания Коринны уже манил его воображение, подобно приключению в духе Ариосто^[9].

Бравурные звуки музыки возвестили о приближении торжественной процессии. Любое событие, сопровождаемое музыкой, всегда вызывает некий трепет в душе. Шествие от-

крывала большая группа знатных римлян, среди них было и несколько иностранцев; за ними ехала колесница, в которой восседала Коринна.

– Это кортеж почитателей Коринны, – сказал один горожанин.

– Да, – прибавил другой, – она принимает поклонение от всех, но никому не отдает явного предпочтения; она богата и независима; многие даже думают – впрочем, это по ней видно, – что она очень высокого происхождения, но не желает, чтоб об этом знали.

– Как бы то ни было, – заметил третий, – она – это божество, сокрытое облаком.

Освальд взглянул на говорившего: его внешность обличала в нем человека весьма скромного звания. Однако жители Юга с такой свободой пользуются поэтическим языком, что можно подумать, будто они черпают свои образы из воздуха и обретают их в солнечных лучах.

Но вот толпа расступилась и показалась Коринна: ее везла четверка белых коней, запряженных в античную колесницу. По обеим сторонам колесницы шли девушки в белых одеждах. Всюду, где проезжала Коринна, воздух наполнялся благовонными курениями; чтобы увидеть ее, люди толпились у окон, украшенных цветами и алыми коврами; все время раздавались возгласы:

– Да здравствует Коринна! Да здравствует гений! Да здравствует красота!

Волнение охватило решительно всех – но только не лорда Нельвиля. Напрасно старался он внушить себе, что надобно отбросить и холодную сдержанность англичанина, и насмешливость француза, чтобы судить о том, что перед ним происходит, – он безучастно смотрел на празднество, пока наконец не увидел Коринну.

Она была одета как сивилла с картины Доменикино^[10]. Индийская шаль, повязанная тюрбаном, из-под которого выбивались прекрасные черные волосы, белое платье, голубая накидка, падавшая легкими складками на грудь, – весь ее наряд был весьма живописен, но не настолько отклонялся от общепринятой моды, чтоб показаться театральным. Поза, в какой Коринна сидела на колеснице, была полна благородства и скромности; восхищение народа ее заметно радовало, но какая-то робость сквозила в ее радости, точно она просила прощения за свой триумф. Выражение ее лица, глаз, ее улыбка привлекали к ней сердца, и лорд Нельвиль проникся к ней расположением с первого взгляда, еще до того, как другое, более властное чувство не покорило его окончательно. Руки Коринны были ослепительной красоты; ее высокая статная фигура придавала ей сходство с греческой статуей; взор ее сиял вдохновением, вся она дышала молодостью и счастьем. Естественность, с какой она кланялась и благодарила за аплодисменты, еще более подчеркивала пышность необычайной обстановки, окружавшей ее; Коринна напоми-

нала жрицу бога Аполлона, направляющуюся в храм Солнца, в то же время в ней угадывалась совсем простая женщина в своем домашнем кругу. Одним словом, все ее движения были полны прелести, вызывавшей симпатию и любопытство, удивление и нежность.

Ликование народа возрастало по мере приближения Коринны к Капитолию, месту, столь богатому воспоминаниями древности^[11]. Лучезарное небо, объятые восторгом жители Рима, а главное, сама Коринна – вся эта картина поразила Освальда. На своей родине он нередко видел, как народ чувствует государственных деятелей, но впервые на его глазах почести воздавались женщине, и женщине, замечательной лишь своими талантами; ее триумфальная колесница не была орошена слезами, и ни горе, ни страх никому не мешали восхищаться лучшими дарами природы: поэтическим вдохновением, чувствами, мыслями.

Освальд так был углублен в раздумья, новые для него впечатления овладели им с такой силой, что он и не заметил, по каким древним и знаменитым в истории Рима местам проезжала колесница Коринны. Она остановилась у лестницы, ведущей на Капитолий; друзья Коринны поспешили предложить ей руку. Она оперлась на руку князя Капель-Форте, знатного римского вельможи, весьма почитаемого за его ум и благородный нрав; выбор Коринны был всеми одобрен. Она поднялась по лестнице Капитолия. Казалось, эти величественные ступени благосклонно принимали легкие шаги

женщины. Еще громче зазвучала музыка, грянул пушечный выстрел, и сивилла вступила во дворец, приготовленный для торжественного обряда.

В глубине огромного зала ждал сенатор, который должен был возложить на Коринну лавровый венок, рядом с ним стояли старейшие сенаторы-хранители; по одну сторону зала расположились кардиналы и самые знатные дамы Италии, по другую – писатели, члены Римской академии; в противоположном конце зала теснился народ, сопровождавший Коринну. Кресло, предназначенное для нее, было поставлено на одну ступень ниже, чем кресло сенатора. Прежде чем сесть, Коринна должна была, по принятому обычаю, взойти на первую ступень и опуститься перед лицом всего высокого собрания на одно колено. Она это сделала с таким благородством и скромностью, с такой мягкостью и достоинством, что у лорда Нельвия на глаза навернулись слезы; он сам подивился своей чувствительности, но ему почудилось, что окруженная почетом и блеском Коринна молит взглядом о помощи, о помощи друга, без чего не может обойтись ни одна женщина, как бы высоко ни вознесла ее судьба; он подумал о том, как было бы сладостно служить опорой той, которая нуждается в защите лишь потому, что от природы она нежна и добра.

Когда Коринна села в кресло, римские стихотворцы начали поочередно читать посвященные ей сонеты и оды. Поэты прославляли ее до небес, но банальные комплименты не давали представления ни о самой Коринне, ни об отличии ее от

других выдающихся женщин. Этот набор гладких строф, пересыпанных намеками на мифологические сюжеты, мог быть равно обращен ко всем знаменитым поэтессам всех времен – от Сафо и до наших дней.

Лорду Нельвилю уже наскучило это пустословие; ему стало казаться, что он сам, только взглянув на Коринну, сумел бы нарисовать более верный ее портрет, более правдивый, более точный, – одним словом, портрет, по-настоящему похожий на Коринну.

Глава вторая

Слово взял князь Кастель-Форте, и все слушали его с большим вниманием. Это был человек лет пятидесяти, и осанка его и манера говорить были сдержанны и полны достоинства; его возраст и уверенность, что он не больше чем друг Коринны, дозволили Освальду выслушать его речь спокойно и с интересом. Не будь этого, Освальд бы начал уже ощущать смутную ревность к нему.

Князь Кастель-Форте прочитал несколько страниц, написанных прозой, без претензий, но создающих очень верное представление о Коринне. Прежде всего он отметил одно особое достоинство ее произведений, которым она была отчасти обязана серьезному изучению иностранных литератур. Коринна, сказал он, в совершенстве объединяет в себе мастерство художника, рисующего роскошными красками блестящие картины жизни Юга, с глубоким знанием человеческого сердца, — знанием, скорее присущим поэтам северных стран, где быт и природа не дают много пищи для души и ума. Он хвалил приветливость Коринны, ее веселость, не имеющую ничего общего с насмешливостью, но проистекающую единственно из живости ума и свежести воображения; он пытался также воздать должное ее тонкой способности чувствовать, но легко можно было догадаться, что к этим его словам примешивалась какая-то тайная грусть. Он

сетовал на то, как трудно выдающейся женщине встретить человека, чей идеальный образ она сама создала себе, человека, наделенного всеми дарами, о которых только могут мечтать сердце и гений. Однако он с удовлетворением говорил о том, какое горячее чувство вызывает в душе читателя поэзия Коринны, с каким искусством она умеет найти соответствие между красотой природы и самыми глубокими переживаниями человека. Он указывал на оригинальность поэтических образов Коринны, порожденных исключительно своеобразием ее характера, лишенного и тени аффектации, которая могла бы нарушить их естественное, непринужденное очарование.

Он говорил о ее красноречии, об этой могучей силе, которая увлекает тем сильнее, чем большим умом и душевной отзывчивостью обладают ее слушатели.

– Коринна, – сказал он, – без сомнения, самая знаменитая женщина в нашей стране; и все-таки лишь ее друзья могут нарисовать ее портрет, ибо душевные качества, если они только истинны, нуждаются в том, чтобы их разгадали; яркий блеск славы, так же как и сумрак безвестности, могут помешать их распознать, если на помощь не придет зоркий глаз друга.

Он пространно рассуждал о ее искусстве импровизации, которое ничуть не походит на то, что обычно называют этим именем в Италии.

– Это искусство Коринны, – продолжал он, – можно объ-

яснить не только щедростью ее таланта, но тем глубоким волнением, какое в ней возбуждают все благородные идеи; стоит ей только коснуться в разговоре предмета, напоминающего о них, как она загорается восторгом, вдохновение увлекает ее и в душе ее открываются неисчерпаемые источники мыслей и чувств.

Князь Кастель-Форте обратил также внимание слушателей на стиль Коринны, всегда безупречно чистый и гармонический.

— Поэзия Коринны, — прибавил он, — это музыка ума, единственно способная передать прелесть тончайших, неуловимых впечатлений.

Далее он хвалил умение Коринны вести занимательную беседу — заметно было, что он сам обретал в ней отраду.

— Блеск воображения и простота, точность суждения и душевная пылкость, сила и мягкость, — сказал он, — объединены в одном лице и непрестанно дарят нам все новые духовные наслаждения; к Коринне можно применить чудесный стих Петрарки:

Il parlar che nell'anima si sente²[12], —

я бы сказал также, что она обладает прославленными восточными чарами, которые древние приписывали Клеопатре.

² Язык, который слышишь в глубине души (*int.*).

– Места, которые мы с ней посетили, – продолжал князь Кагель-Форт, – музыка, которую мы вместе с ней слушали, картины, которые она научила меня видеть, книги, которые она научила меня понимать, составляют целый мир, и он живет в моем воображении. Во всех этих созданиях искусства пылает искра ее жизни, и, доведись мне жить от нее в отдаении, я бы окружил себя ими, потому что – я это знаю – только среди них я бы смог отыскать огненный след, оставленный ею. Да, – прибавил он, и взор его случайно упал на Освальда, – глядите на Коринну, если вы сможете провести с ней вашу жизнь и продлить на долгие годы то вдохновенное существование, которое она вам даст; но не глядите на нее, если вам суждено ее покинуть; до конца ваших дней тщетно вы будете искать другую, столь же творческую натуру, способную разделить и умножить ваши чувства и мысли: вы не найдете ее никогда.

Освальд вздрогнул при этих словах; взгляд его остановился на Коринне, которая слушала князя с волнением, вызванным отнюдь не честолюбием, а иным, более нежным и трогательным чувством. Князь Кагель-Форт возобновил свою речь, прерванную минутой умиления; он стал говорить о талантах Коринны к живописи, музыке, декламации, танцам, он сказал, что во всех этих видах искусства живет сама Коринна, что она не ограничивает себя какой-нибудь единой манерой, не подчиняет себя никаким правилам, но всегда – хотя и на языке различных искусств – передает все то же оча-

рование, проявляет все ту же мощь своего воображения.

— Я не льщу себя надеждой, — заключил князь Ка-
стель-Форте, — что мне удалось обрисовать облик женщины,
о которой нельзя составить себе представление, доколе не
услышишь ее; но пребывание ее в Риме равносильно для нас
счастью, какое дарит нам наше ослепительное солнце, наша
животворная природа. Коринна связывает между собою сво-
их друзей; в ней смысл и цель нашей жизни; мы уповаем на
ее доброту, мы гордимся ее гением; мы говорим чужестран-
цам: «Взгляните на нее, она олицетворение нашей прекрас-
ной Италии; она то, чем бы мы были, когда бы не знали неве-
жества, зависти, раздора и лени, на которые обрекла нас
судьба». Мы любим ее как чудесным созданием нашего
неба, наших искусств; она отпрыск нашего прошлого, про-
возвестница нашего будущего; и когда чужестранцы поро-
чат страну, где воссиял свет знаний, озаривший Европу, ко-
гда они беспощадно клеймят наши проступки, порожденные
нашими бедствиями, мы говорим им: «Взгляните на Корин-
ну!» Да, мы последовали бы по ее стопам, мы стали бы таки-
ми же великими, как она, — если бы мужчины были способ-
ны, как женщины, носить целый мир в своем сердце, если
бы мы не зависели от социальных условий и внешних обстоя-
тельств и могли всецело отдаться служению яркому светочу поэзии.

Когда князь Кастель-Форте умолк, раздались единодуш-
ные рукоплескания; и хотя в конце его речи прозвучало кос-

венное осуждение современного положения Италии, все высокие сановные лица одобрили ее: именно в Италии встречается такого рода свободомыслие, которое не посягает на государственные установления, но прощает выдающимся умам спокойную оппозицию господствующим предрассудкам.

Князь Кастель-Форте пользовался доброй славой в Риме. В своих речах он обнаруживал редкую проницательность, и это было замечательным даром в стране, где вкладывают больше ума в действия, чем в рассуждения. Он был лишен той изворотливости в делах, какая часто бывает свойственна итальянцам, но любил размышлять и не боялся утомлять себя умственной работой. Беспечные обитатели Юга иногда отказываются от нее и похваляются, что могут все постичь лишь силою своего воображения, подобно тому как их благодатная земля приносит плоды без предварительной обработки, лишь милостью Неба.

Глава третья

Как только князь Кастель-Форте кончил свою речь, Коринна встала; она поблагодарила его благородным и мягким наклоном головы, выражающим одновременно и скромность, и естественную радость искренней похвале. Поэт, которого венчали лаврами на Капитолии, должен был по существовавшему обычаю продеklamировать или же прочесть экспромтом какой-нибудь стихотворный отрывок. Коринна попросила принести ей лиру, свой любимый инструмент, весьма похожий на арфу, однако более античной формы и более простой по звучанию. Когда она стала настраивать лиру, ею вдруг овладело величайшее смущение, и она дрожащим голосом попросила назначить ей тему. «Слава и счастье Италии!» – закричали все в один голос.

– Хорошо, – сказала она, уже почувствовав прилив вдохновения, – «Слава и счастье Италии!»

И, загоревшись любовью к родине, она произнесла стихи, полные чарующей силы, о которой проза может дать лишь самое слабое представление.

Импровизация Коринны на Капитолии

*Италия, страна солнца! Италия, владычица мира!
Италия, колыбель науки, приветствую тебя! Сколько*

раз человеческий род покорялся тебе, сложив оружие к твоим ногам, преклонив колена перед твоими искусствами и твоими небесами!

Один из богов покинул Олимп, чтобы найти приют в Авзонии^[13]; в этой стране воскресли мечты о золотом веке, и люди там казались чересчур счастливыми, чтобы их можно было заподозрить в преступлениях.

Рим завоевал себе вселенную с помощью своего гения и стал властелином, опираясь на свободу. Римский характер наложил отпечаток на весь мир, и набеги варваров, разорив Италию, погрузили во тьму невежества всю вселенную.

Италия возродилась вновь, когда греки, искавшие в ней убежища, принесли с собой свои божественные сокровища^[14]; небо сообщило ей свои законы; отвага ее сыновей открыла новое полушарие^[15]; она снова стала повелительницей, собрав под своим скипетром великих мыслителей, но лавры, увенчавшие их, породили толпы завистников!

Искусство вернуло Италии утраченную власть над миром. Художники и поэты сотворили для нее Олимп и землю, небо и ад; но не нашлось в Европе Прометея, который дерзнул бы похитить огонь, горящий в груди Италии, хранимый ее гением более ревностно, чем богом язычников.

О, зачем вы привели меня на Капитолий? зачем вы хотите возложить венок на мое смиренное чело, – венок, который носил Петрарка, который до сих пор висит на кипарисе у могилы Тассо? Зачем... да затем,

что вы чтите славу своей родины, о мои сограждане! и вы награждаете поэта равно за его служение Италии, как и за его талант.

Итак, если вам дорога слава нашей родины, столь часто избирающей свои жертвы среди победителей, ею же увенчанных, оглянитесь с гордостью на минувшие века возрождения искусств. Вспомните Данте, этого Гомера новейшей эпохи, поэта, посвященного в таинства нашей религии, героя и мыслителя: этот гений погрузился в подземные воды Стикса, и душа его стала глубокой, как бездны, описанные им.

В творении Данте воскресла вся Италия времен ее могущества. Пылая духом республиканских свобод, воин и вместе поэт, он возжег огонь борьбы в сердцах мертвых, и тени стали жить более полной жизнью, чем даже люди наших дней.

Воспоминания о земле преследуют усопших и за гробом, неутихшие страсти бушуют и там в их груди; их гложет мысль о минувшем, которое им кажется не столь непреложным, как их будущее, вечное будущее.

Можно смело сказать, что изгнанник Данте перенес в страну своего воображения все муки, терзавшие его. Тени беспрестанно расспрашивают его о судьбах живых, подобно тому как он сам справляется о своей родине; и ад ему тоже мнится местом изгнания.

Все в его глазах облачено в одежды Флоренции. Тени, восставшие из глубины древности, напоминают собой тосканцев, его земляков, но это не значит, что ум его ограничен, напротив, мощью своего духа он замкнул все

мироздание в круг своей мысли.

Мистическая цепь кругов и сфер ведет Данте из ада в чистилище, из чистилища в рай; повествуя с точностью историка о своих видениях, он заливают ярким светом самые темные уголки вселенной, и мир, сотворенный им в трехчастной поэме, исполнен жизни и блеска, словно новая планета, замеченная на небосклоне.

При одном звуке голоса Данте все на земле преобразается в поэзию; предметы, идеи, законы и явления природы словно становятся новым Олимпом, населенным новыми богами; но мифы, рожденные его фантазией, исчезают, подобно мраку язычества при виде рая, этого океана света, блестящего звездами, лучами, добродетелями и любовью.

В магических стихах величайшего нашего поэта точно в призме преломились чудеса целого мира, то противостоя друг другу, то вновь сочетаясь; звук принял окраску, а краски слились в гармонию звуков; рифма, звучная или необычно приглушенная, стремительная или протяжная, была внушена поэту его даром прозрения; это вершина искусства, торжество гения, проникшего в тайные связи природы и человеческого сердца.

Данте надеялся, что появление его поэмы положит конец его ссылке; он полагал, что слава станет его заступницей, но слишком рано умер, чтобы пожинать лавры в своем отечестве. Нередко превратности судьбы подрывают в корне хрупкую жизнь человека:

пусть даже слава осенила его своим крылом, пусть он успел причалить к желанному берегу, – близ спасительной гавани уже разверзлась могила и многоликий рок приходом запоздалого счастья возвещает наступление смертного часа.

Так было и со злосчастным Тассо; ваши хвалы, о римляне, должны были принести ему утешение за столько несправедливо причиненных обид; прекрасный, чувствительный, великодушный Тассо, поэт, мечтавший о подвигах, воспевавший любовь, разбившую ему сердце^[16], уже приближался благоговейно и благодарно к этим стенам, подобно его героям, приближавшимся к стенам Иерусалима^[17]. Но накануне дня его торжества смерть призвала Тассо на свой страшный пир; небо ревнует к земле и требует к себе своих любимцев, прочь от потока времени с его обманчивыми берегами.

В век более гордый и вольный, чем век Тассо, Петрарка, как и Данте, был мужественным певцом независимости Италии. В других странах была лишь известна история его великой любви; но иные, более суровые подвиги навеки прославили его имя среди нас^[18], ибо родина вдохновляла его больше, чем сама Лаура. В часы ночных трудов он воскрешал мир античности: воображение поэта не мешало его важным занятиям и, открывая ему грядущее, позволяло проникнуть в тайны минувших столетий. Он испытал на собственном опыте, что ученость способствует поэтическому творчеству, и самообытный гений его,

подобно Предвечным Силам, обнимал собой все века.

Наши прозрачный воздух, наш радостный климат вдохновляли Ариосто. После стольких изнурительных войн он появился на нашем небосклоне точно радуга; блестящий, многоцветный, подобный этой предвестнице ясной погоды, он, казалось, шутил с жизнью, и светлая, кроткая его веселость скорее напоминала простодушную улыбку природы, чем тонкую насмешку человека.

Микеланджело, Рафаэль, Перголезе^[19], Галилей и вы, бесстрашные путешественники, жадно ищущие новых земель, хоть природа нигде не может показать вам ничего прекраснее, чем ваша земля, – присоедините и ваши славные имена к именам великих поэтов! Художники, ученые, философы! Вы, подобно им, дети солнца: оно зажигает вашу фантазию, дает пищу уму, вселяет в душу отвагу, покоит вас в счастливые дни, все обещает и все помогает забыть.

Знаком ли вам тот край, где цветут апельсины, любовно взращенные лучами солнца? Внимали ли вы нежной мелодии, поющей о сладости наших ночей? Вдыхали ли вы роскошное благоухание нашего чистого, теплого воздуха? Скажите, о чужестранцы! прекрасна ли и благодатна ли природа вашей родины?

Когда всенародное бедствие обрушивается на другие страны, люди почитают себя там покинутыми Богом; но мы всегда ощущаем покровительство Небес, мы видим, что Они пекутся о нас и полны милости к нам, как к благородным созданиям.

Земля наша богата не только виноградом и хлебными злаками: как на царском пиру, она осыпает путь человека цветами и множеством великолепных растений – бесполезных, но которые созданы услаждать его взор и не унижаются до служения ему.

Итальянцы достойны тех невинных радостей, какие предлагает им природа: они довольствуются самыми простыми яствами, никогда не опьяняются вином, которое у них в изобилии; они любят свое солнце, свое искусство, свои памятники, свою страну, такую древнюю и в то же время вечно юную. Они не соблазняются ни изощренными удовольствиями высокомерной знати, ни грубыми забавами алчной черни.

Здесь чувство живет в ладу с мыслью, жизнь близка к своим истокам, и душа, словно воздух, парит в пределах, обозначенных небом и землей. Здесь гению привольно – сама природа полна тихой задумчивости; если он встревожен, она успокаивает его; если он грустит о несбывшихся мечтаниях, она дарит ему тысячи новых иллюзий; если люди гонят его, она открывает ему свои объятия.

Так природа всегда утешает в невзгодах, ее ласковая рука исцеляет все недуги. Здесь можно исцелить даже сердечные раны. Преклонившись перед милосердием Творца, человек постигает тайну Его любви к людям, и преходящие печали нашей краткой жизни тонут в необъятном плодоносном лоне бессмертной вселенной.

Коринну на несколько минут прервали бурные аплодисменты. Один только Освальд не принял участия в этих шумных выражениях восторга. Когда Коринна сказала: «Здесь можно исцелить даже сердечные раны», он опустил голову на руку и так и остался в этой позе. Она заметила Освальда и по его чертам, цвету волос, высокому росту, костюму, по манере держаться тотчас признала в нем англичанина. Глубокая печаль, отражавшаяся на его лице, и траур, который он носил, ее очень тронули. В его взгляде, устремленном на нее, казалось, таился нежный упрек; она догадалась, какие мысли его занимали, и, желая сделать ему приятное, решила больше не говорить о счастье и благоденствии, но посвятить несколько минут своего блистательного праздника рассуждениям о смерти. С этим намерением она снова взяла в руки свою лиру, двумя-тремя протяжными, меланхолическими аккордами заставила умолкнуть все собрание и продолжала:

Правда, бывают горести, которые не проходят даже под нашим милосердным небом; но где, в каком краю скорбь может быть более мягкой и более светлой, чем у нас?

В других землях людям тесно, в непрерывной погоне за удовлетворением своих ненасытных желаний они не находят себе достаточно места; у нас же, среди руин, пустырей, необитаемых дворцов, остается так много простора для теней. Разве Рим в наше время не превратился в царство гробниц?

Колизей, обелиски, чудесные сокровища искусств, привезенные из Египта и Греции или дошедшие до нас из глубины нашей истории – от Ромула и до Льва Десятого^[20], – все это собрано здесь, словно величие манит к себе величие, словно все, что человек хочет спасти от сокрушительной силы времени, должно быть заключено в одном месте. И все эти дивные произведения искусства стали памятниками минувшего. Наша бездеятельная жизнь протекает незаметно, но молчание живых – знак уважения мертвым; наша жизнь быстротечна, их жизнь длится вечно.

Только их имена мы окружаем почетом, только они у нас известны; наше тусклое существование придает еще больше блеска славе наших предков; мы оберегаем лишь то, что связано с нашим прошлым, все споры смолкают, когда речь заходит о нем. Все наши шедевры созданы теми, кого уже нет, и мнится, сам гений отошел в царство знаменитых покойников.

Быть может, одно из таинственных очарований Рима кроется именно в том, что здесь воображение наше примиряется с вечным сном. Здесь люди привыкают покоряться судьбе и не столь горько оплакивают тех, кого любили. Народы Юга рисуют себе конец жизни не в таких мрачных красках, как жители Севера. Солнце, подобно славе, согревает даже могилу.

Под нашим прекрасным небом, подле множества погребальных урн, холод одинокой гробницы не так

пугает робкие души; при мысли о том, что нас поджидает толпа великих теней, переход из нашего уединенного города в город мертвых уже не кажется столь страшным.

Вот почему здесь смягчается самая нестерпимая боль утраты; это не значит, конечно, что наши сердца очерствели, а души иссохли; но, дыша благоуханным воздухом, мы чувствуем совершенную гармонию, царящую в мире, и без боязни предаемся природе, о которой Творец наш сказал: «Лилии не трудятся, не прядут, а все же какой царский наряд может сравниться с великолепием, в которое я их облек?»^[21]

Освальд был восхищен последними строфами и так живо выразил свой восторг, что превзошел на сей раз самих итальянцев. И в самом деле, вторая часть импровизации Коринны скорее предназначалась ему, чем римлянам.

Итальянцы обычно читают стихи нараспев. Эта плавная, певучая манера, приближающаяся к кантилене, отнимает у поэтической речи ее выразительность. Интонация, лучше слов раскрывающая сокровенный смысл стиха, придает чтению монотонный характер, если она остается неизменной. Но декламация Коринны была так богата разнообразными оттенками, не нарушавшими, однако, строгой гармонии стиха, что казалась многоголосой музыкой, каким-то небесным оркестром.

Нежный и проникновенный голос Коринны, произносивший стихи на звучном и торжественном итальянском языке

ке, произвел на Освальда совершенно новое для него впечатление. Английская просодия звучит однообразно и приглушенно; ее естественная красота меланхолична; ее краски сотканы из облаков; ее модуляция навеяна рокотом волн; но когда итальянские слова, сверкающие, как праздничный день, звучащие, как победные фанфары, подобно багрянцу среди других цветов, когда итальянские слова, трепещущие радостью, которую лучезарное небо вливает в сердце, проносятся голосом, полным глубокого чувства, тогда блеск этих слов, смягчающий их напряженную силу, нас приводит в волнение, столь же неожиданное, как и живое. В таких случаях можно подумать, что природа обманулась в своих замыслах, ее благодеяния оказались ненужными, ее дары – отвергнутыми; мотивы горя, прозвучавшие среди веселья, изумляют и трогают сильнее, чем печаль, высказанная на языках Севера, казалось бы вдохновленных ею.

Глава четвертая

Сенатор взял в руки венок из миртов и лавров, готовясь возложить его на голову поэтессы. Коринна сняла шаль, обвивавшую ее лоб, и черные, как вороново крыло, волосы рассыпались по ее плечам. Она приподняла свою непокрытую голову, и взгляд ее засветился удовольствием и благодарностью, которые она и не думала скрывать. Она вторично опустилась на колени, чтобы принять венок, но уже не казалась смущенной и трепещущей: она только что выступала, сердце ее было полно возвышенных чувств, воодушевление победило ее робость. Это уже была не боязливая женщина, а вдохновенная жрица, радостно посвящающая себя служению искусству.

Когда венок был возложен на ее голову, музыка заиграла торжественный гимн, который с такой могущественной силой восхищает и поднимает душу. Гром литавров и фанфар снова взволновал Коринну; на глазах у нее показались слезы; на минуту она опустилась в кресло и закрыла лицо платком. Освальд, тронутый до глубины души, вышел из толпы и сделал несколько шагов, намереваясь заговорить с ней; но непобедимое замешательство овладело им. Коринна некоторое время глядела на него, стараясь, однако, чтобы он не заметил, что привлек ее внимание; но когда князь Капель-Форте предложил ей руку, чтобы отвести ее с Капитолия к ко-

леснице, она пошла с ним в рассеянности и под разными предлогами несколько раз оборачивалась и бросала взгляд на Освальда.

Он последовал за ней; и в ту минуту, когда, сопровождаемая своей свитой, она оглянулась, чтобы увидеть его еще раз, венок упал у нее с головы. Освальд кинулся за ним и, подавая его Коринне, сказал несколько слов по-итальянски, означавших, что простые смертные кладут к ногам божества венок, который они не смеют возложить на его голову^[22]. Какое же было изумление Освальда, когда она поблагодарила его по-английски с чистейшим акцентом уроженки Британских островов, почти недоступным жителям континента! Он остановился как вкопанный и в смятении облокотился на одного из базальтовых львов, расположенных у основания лестницы, ведущей на Капитолий. Коринна, пораженная его волнением, снова внимательно взглянула на него; но ее уже увлекли к колеснице, и толпа исчезла задолго до того, как Освальд очнулся и собрался с мыслями.

До этой минуты Коринна была в его глазах прелестнейшей иностранкой, одним из чудес той страны, которую он собирался объехать; но ее английское произношение вызвало в нем воспоминание об отечестве и придало ее очарованию что-то близкое и родное. Была ли она англичанка? Провела ли она много лет в Англии? Он не мог это угадать; но не могла же она в таком совершенстве изучить английский язык в Италии. Кто знает, не были ли их семьи связаны меж-

ду собою? Может быть, он даже видел ее в детстве? Часто человек бессознательно носит в душе дорогой ему образ и при первой встрече с любимой готов поклясться, что видел ее когда-то очень давно.

У Освальда было много предубеждений против итальянцев: он считал их пылкими, однако переменчивыми, неспособными на глубокую и длительную привязанность. Но то, что Коринна говорила на Капитолии, поколебало его мнение; а что было бы, если бы он обрел в ней одновременно и воспоминание о своей родине, и новую жизнь, полную поэзии, если бы он смог возродиться для будущего и не порывать со своим прошлым?

Погруженный в свои мечтания, Освальд очутился на мосту Святого Ангела, ведущем к замку того же имени, вернее, к гробнице Адриана, перестроенной в крепость^[23]. Молчание, царившее вокруг, тусклые воды Тибра, лунные лучи, озарявшие статуи на мосту, которые казались бледными призраками, созерцающими течение волн и течение времени, не коснувшегося их, – все это вернуло Освальда к его привычным думам. Он нащупал рукой портрет отца, который всегда носил на своей груди, и, вынув его, долго рассматривал; только что испытанное им ощущение счастья и повод, его вызвавший, слишком живо напомнили Освальду о том чувстве, которое некогда заставило его провиниться перед отцом. Угрызения совести с новой силой заговорили в нем.

– О неизбывная печаль моей жизни! – вскричал он. – Друг

мой, столь тяжко мной оскорбленный и при этом столь великодушный! Мог ли я думать, что мечта о блаженстве так скоро найдет доступ к моей душе? Нет, ты не станешь укорять меня в этом, о лучший и снисходительнейший из людей! Ведь ты хочешь, чтобы я был счастлив, ты этого хочешь, несмотря на мои прегрешения перед тобой! О, если бы я мог хоть услышать твой голос с небес, которому не внимал, когда ты жил на земле!

Книга третья

Коринна

Глава первая

Граф д'Эрфейль тоже был на празднике на Капитолии; на другой день, зайдя к лорду Нельвилю, он сказал ему:

– Дорогой Освальд, хотите, я поведу вас сегодня вечером к Коринне?

– Как! – прервал его Освальд. – Вы с нею знакомы?

– Нет, – ответил граф д'Эрфейль, – но столь знаменитой особе всегда бывает лестно, когда хотят ее видеть, и я написал ей нынче утром письмо, прося позволения посетить ее сегодня вечером вместе с вами.

– Я предпочел бы, – заметил, покраснев, Освальд, – чтобы вы не называли моего имени без моего разрешения!

– Поблагодарите меня за то, что я избавил вас от скучных формальностей! – возразил граф д'Эрфейль. – Вместо того чтобы пойти к посланнику, который повел бы вас к кардиналу, а тот – к какой-нибудь знатной даме, которая ввела бы вас в дом к Коринне, я представлю ей вас, вы представите ей меня, и отличный прием обеспечен нам обоим.

– Я не столь самонадеян, как вы, и имею на то основание, –

произнес лорд Нельвиль. — Я опасюсь, как бы такая поспешность не вызвала неудовольствия Коринны.

— Ничуть не бывало, уверяю вас, — сказал граф д'Эрфейль, — она слишком умна для этого и очень любезно мне ответила.

— Как! она вам ответила? — воскликнул лорд Нельвиль. — И что же она вам написала, дорогой граф?

— Ого! уже дорогой граф! — смеясь, подметил граф д'Эрфейль. — Вы сменили гнев на милость, как только узнали, что Коринна ответила мне! Но в конце концов, «я вас люблю, и все прощено!». Должен признаться, что в своем письме я больше говорил о себе, чем о вас, но сдаётся мне, что она в ответном письме назвала ваше имя раньше моего; впрочем, я никогда не завидую моим друзьям...

— Разумеется, — молвил лорд Нельвиль, — я не думаю, чтобы кто-нибудь из нас мог льстить себя надеждой понравиться Коринне; что до меня, то единственно, чего я желаю, это изредка наслаждаться обществом такой удивительной женщины. Итак, до вечера, уж если вы все так устроили!

— Значит, вы едете со мной? — спросил граф д'Эрфейль.

— Ну да! — ответил лорд Нельвиль в явном смущении.

— Тогда почему же, — спросил граф д'Эрфейль, — вы так негодовали на то, что я предпринял этот шаг? вы кончаете тем, чем я начал; но вам угодно было проявить большую сдержанность, чем я, тем более что вы ничего от этого не потеряли! А Коринна действительно прелестное создание: так

умна, так привлекательна! Я не очень хорошо понял, что она там говорила, но, судя по ее виду, готов биться об заклад, что она превосходно говорит по-французски. Впрочем, мы это узнаем сегодня вечером. Она ведет весьма странный образ жизни: молода, богата, свободна, но нельзя с уверенностью сказать, есть ли у нее любовник или нет. Однако сейчас она, кажется, никому не отдает предпочтения; впрочем, — прибавил он, — если она не может встретить здесь человека достойного ее, меня это ничуть не удивляет!

Граф д'Эрфейль продолжал еще некоторое время болтать в том же духе, не получая от Освальда никакого ответа. Хотя в словах графа д'Эрфейля и не было ничего непристойного, развязный и легкомысленный тон, каким он всегда говорил о том, что глубоко затрагивало его собеседника, задевал тонкую чувствительность Освальда. Бывает такого рода душевная деликатность, которой не могут научить ни ум, ни привычка к светскому обществу; и как часто можно ранить сердце, не нарушая при этом строгих правил приличия!

Весь день лорд Нельвиль не мог успокоиться, думая о предстоящем визите к Коринне; он старался отгонять тревожные мысли, силясь уверить себя, что можно найти отраду и в чувстве, которое не решает судьбу всей жизни. Обманчивая уверенность! ведь нам не доставляет радости чувство, которое мы сами считаем недолговечным.

Лорд Нельвиль и граф д'Эрфейль подъехали к дому Коринны, расположенному на Транстеверинской стороне^[24],

немного поодаль от замка Святого Ангела. Вид на Тибр придавал особую прелесть этому дому; внутреннее убранство его отличалось величайшим изяществом. Зал украшали гипсовые слепки со знаменитейших итальянских статуй: Ниобеи, Лаокоона, Венеры Медицейской, Умирающего гладиатора; в кабинете, где обычно проводила время Коринна, было много книг, различных музыкальных инструментов; простая, но покойная мебель была расставлена так, что располагала к непринужденной дружеской беседе. Коринна еще не вышла, и в ожидании ее прихода Освальд в сильном волнении ходил взад и вперед по комнате; в любой мелочи ее обстановки он примечал счастливое сочетание наиболее привлекательных особенностей французской, английской и итальянской наций: общительность, любовь к наукам, развитое чувство изящного.

Наконец появилась Коринна: наряд ее был незатейлив, но живописен. В волосах ее прятались античные камеи, на шее было надето коралловое ожерелье. Радужная манера, с какой она встретила гостей, была исполнена свободы и достоинства; богиню вчерашнего торжества на Капитолии можно было узнать даже в ее домашнем кругу, хоть она и держалась как нельзя более просто и естественно. Она приветствовала первым графа д'Эрфейля, но глядела в это время на Освальда; затем, словно устыдившись несвойственного ей притворства, приблизилась к Освальду; имя лорда Нельвиля явно производило на нее особенное действие: голос ее дро-

жал, когда она дважды его произнесла, словно оно вызывало в ней какие-то волнующие воспоминания.

Наконец Коринна в нескольких любезных словах поблагодарила по-итальянски Освальда за услугу, которую он ей вчера оказал, подняв упавший с ее головы венок. С трудом подбирая слова, он попытался выразить ей свое восхищение и мягко посетовал на то, что она не говорит с ним по-английски.

– Разве сейчас я более чужд вам, чем вчера? – спросил он.

– Конечно нет! – ответила Коринна. – Но когда человек, подобно мне, много лет говорит на нескольких языках сразу, он всегда выбирает из них тот, который более соответствует чувству, владеющему им в данную минуту.

– Но, очевидно, родной ваш язык английский, тот язык, на котором вы беседуете с друзьями, тот...

– Я итальянка! – прервала его Коринна. – Простите меня, милорд, но мне кажется, что я замечаю в вас то национальное высокомерие, каким столь часто отличаются ваши соотечественники! Мы, итальянцы, более скромны: мы не так самодовольны, как французы, и не так надменны, как англичане. От иностранцев мы ждем лишь немного снисходительности; но мы давно уже утратили право считаться нацией и нередко грешим тем, что в частной жизни не проявляем того достоинства, в котором нам отказано как народу; впрочем, когда вы поближе узнаете итальянцев, вы увидите, что в их характере и поныне сохранились черты древнего величия, чер-

ты не слишком заметные, встречающиеся не часто, но которые могли бы возродиться при более счастливых обстоятельствах. Иногда я буду разговаривать с вами по-английски, но не всегда; итальянский язык мне дорог; я много выстрадала, — сказала она, вздохнув, — чтобы иметь возможность жить в Италии.

Тут в разговор вмешался граф д'Эрфейль и стал почти-тельно укорять Коринну в том, что она совсем забыла о нем, говоря на непонятном ему языке.

— Прекрасная Коринна! — взмолился он. — Сделайте милость! говорите по-французски! вы этого поистине достойны!

Коринна улыбнулась при этом комплименте и заговорила по-французски — очень чисто, весьма бегло, но с английским произношением. Лорд Нельвиль и граф д'Эрфейль оба равно удивились; а граф д'Эрфейль, полагавший, что говорить можно решительно обо всем, лишь бы это было сказано с приятностью, и не подозревавший, что можно быть неучтывым не только по форме, но и по сути, напрямик спросил Коринну, чем объясняется подобная странность. При этом неожиданном вопросе она сперва немного растерялась; потом, оправившись от минутного смущения, ответила:

— Очевидно, граф, это объясняется тем, что французскому языку меня обучал англичанин.

Он засмеялся, но продолжал настойчиво допрашивать ее. Приходя все в большее замешательство, она сказала ему на-

конец:

– Вот уже четыре года, граф, как я поселилась в Риме, и никто из друзей моих, из тех, кто – я верю этому – принимает во мне искреннее участие, не допытывается у меня о моей судьбе; они сразу поняли, что мне было бы тягостно говорить об этом.

Эти слова заставили графа д'Эрфейля прекратить свои расспросы. Но у Коринны мелькнула мысль, не обидела ли она его, и она постаралась быть с ним как можно любезнее; не отдавая себе отчета, она опасалась, как бы граф, очевидно весьма близкий к лорду Нельвилю, не отозвался бы дурно о ней своему другу.

В это время приехал князь Кафель-Форте в сопровождении нескольких римлян – друзей своих и Коринны. Все это были люди с живым, игривым умом, очень приятные в общении; они так легко воодушевлялись в общем разговоре, так быстро отзывались на все достойное внимания, что беседовать с ними доставляло величайшее удовольствие. Беспечные итальянцы нередко ленятся выказывать в обществе свой прирожденный ум; но, находясь и в уединении, они большей частью не развивают своих умственных способностей; зато они с наслаждением пользуются тем, что дается им без труда.

В Коринне было много юмора: она подмечала смешные черточки людей с проницательностью француженки и умела изображать их с живостью итальянки. Но во всех ее шутках

чувствовалась сердечная доброта: в них не было ничего злонамеренного и язвительного; ведь ранит лишь холодная насмешливость, а веселая игра воображения, напротив, почти всегда добродушна.

Освальд находил в Коринне бездну обаяния, и совершенно нового для него обаяния. Самые важные и трагические обстоятельства его жизни были связаны с воспоминаниями об одной очень изящной и остроумной француженке, но Коринна ничем не напоминала эту женщину; речи ее обличали разносторонний ум; в них проявлялись и восторженная любовь к искусствам, и знание света, тонкость понимания и глубина чувств; при всей непосредственной живости ее натуры, придававшей ей немало прелести, ее суждения никак нельзя было назвать необдуманными и поверхностными.

Освальд был изумлен и вместе с тем очарован, одновременно встревожен и восхищен; он не мог постигнуть, как в одном человеке совмещалось все, чем обладала Коринна; он спрашивал себя: говорит ли сочетание столь противоположных черт в характере Коринны о непостоянстве или же о совершенстве; он недоумевал: что позволяло Коринне – способность ли полностью отдаваться впечатлениям минуты или же умение немедленно все забывать, – что позволяло ей почти мгновенно переходить от грусти к радости, от задумчивости к резвости, от беседы, поражающей обширными познаниями и зрелыми мыслями, к кокетству женщины, которая хочет нравиться и умеет пленять! Но и в кокетстве ее

было так много благородства, что оно внушало не меньше почтения, чем самая строгая сдержанность.

Князь Кастель-Форте был целиком поглощен Коринной; все итальянцы, составлявшие ее общество, выражали ей свои чувства неусыпными заботами и нежными знаками внимания: постоянное поклонение, каким они ее окружали, озаряло всю ее жизнь праздничным светом. Коринну радовало сознание, что она так любима, но это была радость человека, который живет в благодатном климате, слышит гармонические звуки и получает лишь приятные впечатления. Однако более серьезное и глубокое чувство, чувство любви, не отражалось на ее лице, всегда столь живом и выразительном. Освальд глядел на нее в молчании; его присутствие воодушевляло Коринну, внушало ей желание быть привлекательной. Однако она порой умолкала в самом разгаре блестящей беседы, пораженная наружным спокойствием Освальда, не зная, одобряет ли он ее или же втайне порицает и может ли человек с английским образом мыслей относиться благосклонно к шумным успехам женщины в обществе.

Освальд был слишком пленен Коринной, чтобы вспомнить свои былые суждения о том, что женщине приличествует держаться в тени; но он спрашивал себя, можно ли заслужить ее любовь? Может ли человек вместить в себе подобное счастье? Он был так ошеломлен и смущен, что, несмотря на ее учтивое приглашение посетить ее снова, провел весь следующий день у себя дома, не видя ее, испытывая какой-то

страх перед чувством, которое им овладело.

Порою он сравнивал новое чувство с пагубным заблуждением своей ранней юности, но потом с негодованием отвергал это сравнение: ведь тогда он подпал под власть женщины, действовавшей с помощью хитрых, вероломных уловок, а искренность Коринны не вызывала и тени сомнения. В чем же заключалась ее притягательная сила? В ее волшебных чарах? В ее поэтическом вдохновении? Кто она – Армида или Сафо?^[25] Может ли он надеяться завоевать когда-нибудь этого гения с блистающими крыльями? Он никак не мог решить этот вопрос; во всяком случае было ясно, что не общество, а само Небо создало эту женщину, не способную ни подражать кому-либо, ни притворяться.

– Отец мой! – воскликнул Освальд. – Если бы ты увидел Коринну, что бы ты подумал о ней?

Глава вторая

На другое утро граф д'Эрфейль, по своему обыкновению, зашел к лорду Нельвилю; упрекнув его в том, что он не был накануне у Коринны, граф сказал:

– Вы получили бы большое удовольствие, если бы побывали у нее.

– Но почему же? – спросил Освальд.

– Потому что я вчера убедился, что она заинтересована вами!

– Опять это легкомыслие! – прервал его лорд Нельвиль. – Разве вы не знаете, что я не могу и не хочу даже думать об этом?

– Вы называете легкомыслием мою наблюдательность, – возразил граф д'Эрфейль, – но разве я менее рассудителен оттого, что все подмечаю быстрее, чем другие? Право, всем вам надобно было жить в блаженные времена библейских патриархов, когда человеку было отмерено не менее пятисот лет жизни, но уверяю вас, что наш век сократился по крайней мере на четыре столетия.

– Допустим, что вы правы, – ответил Освальд, – но что же открыли вы с помощью вашей наблюдательности?

– То, что Коринна вас любит. Вчера я пришел к ней; должен признаться, она меня превосходно приняла; но она не сводила глаз с дверей, выжидая, не последуете ли вы за мной.

Некоторое время она пыталась говорить о чем-нибудь другом, но, так как нрав у нее очень живой и очень естественный, она кончила тем, что без обиняков спросила меня, почему вы не пришли вместе со мной? Я стал бранить вас, надеюсь, вы не будете на меня за это в обиде; я сказал, что вы мрачный нелюдим и чужак; но я умолчу о похвалах, какими я вас осыпал. «Он так печален, – сказала Коринна, – он, без сомнения, потерял дорогого ему человека. По ком же носит он траур?» – «По своему отце, сударыня, – отвечал я, – хотя прошло уже больше года после его смерти; но так как закон природы велит всем нам пережить своих родителей, то я думаю, что его давняя глубокая печаль вызвана другой, тайною причиной». – «О, – возразила Коринна, – я далека от мысли, что все люди одинаково переносят горечь утраты; отец вашего друга и друг ваш, может быть, возвышаются над общим уровнем: я очень склонна так думать». Эти слова, милый Освальд, она произнесла с такой нежностью...

– И вы из этого сделали вывод, будто я занимаю ее воображение! – перебил его Освальд.

– По правде сказать, – подхватил граф д'Эрфейль, – для меня этого довольно, чтобы увериться в том, что вы любимы; но, если вам этого мало, получайте больше: самое важное доказательство я приберег к концу. Пришел князь Капель-Форт и, не подозревая, что он говорит о вас, начал рассказывать историю, которая случилась с вами в Анконе. Рассказывал он красноречиво и с огнем, насколько я могу

судить об этом после двух уроков итальянского языка; впрочем, в иностранных языках столько французских слов, что можно почти все понимать, вовсе их не изучая. Притом все, чего я не понимал, я читал на лице Коринны. На нем так ясно отражалась ее сердечная тревога: она едва дышала, боясь пропустить хоть слово; когда она спросила, известно ли имя англичанина, волнение ее было столь велико, что легко можно было заметить, как она боится, что произнесут не ваше, а другое имя. Князь Кастель-Форте сказал, что он не знает, кто был этот англичанин, и Коринна, с живостью обернувшись ко мне, спросила: «Не правда ли, граф, это был лорд Нельвиль?» — «Да, сударыня, — отвечал я, — это был он». Тут Коринна разрыдалась. Она не плакала, когда слушала эту историю; но больше, чем самим рассказом, она была взволнована именем его героя.

— Она разрыдалась! — воскликнул лорд Нельвиль. — Ах, почему меня там не было?

Потом, внезапно умолкнув, он опустил глаза, и на его мужественном лице появилось выражение робости и смущения; он поспешил заговорить, боясь, как бы граф д'Эрфейль не нарушил его тайную радость, приметив ее.

— Если происшествие в Анконе стоит того, чтобы о нем рассказывали, — сказал он, — то ведь и вас можно назвать его героем, дорогой граф!

— В рассказе упоминался и один очень любезный француз, который был вместе с вами, милорд, — ответил, смеясь, граф

д'Эрфейль, — но, кроме меня, никто не обратил внимания на эти мимоходом сказанные слова. Прекрасная Коринна предпочитает вас мне; очевидно, она считает, что из нас двоих более верным окажется вы; однако вы будете не лучше меня; и даже, может статься, причините ей больше огорчений, чем это сделал бы я, но женщины любят огорчения, лишь бы они были любовными; итак, ей подходите вы.

Лорда Нельвиля мучительно задевало каждое слово графа д'Эрфейля; но что мог он сказать ему? Граф никогда не возражал в споре, но никогда и не выслушивал другого настолько внимательно, чтобы изменить свое мнение; однажды высказав свое суждение, он им больше не интересовался, и лучше всего для его собеседника было забыть это суждение так же быстро, как забывал его сам д'Эрфейль.

Глава третья

Освальд пришел вечером к Коринне с совершенно новым чувством: он думал, что его, быть может, ждут. Как восхитительны первые минуты вспыхнувшего интереса друг к другу! Память еще не обольстила сердце надеждой, чувство не высказалось в словах, красноречие не выразило, чем живет душа, — но в этих первых кратких мгновениях, пока еще столь неясных и загадочных, есть нечто более упоительное, чем сама любовь.

Когда Освальд вошел в комнату Коринны, робость овладела им еще сильнее, чем обычно. Увидев, что она одна, он даже несколько огорчился: ему хотелось бы подольше наблюдать за ней в многолюдном обществе, чтобы каким-нибудь образом убедиться в ее расположении к нему, а сейчас, очутившись с ней с глазу на глаз, надобно было сразу начать разговор, и он боялся разочаровать Коринну, показавшись ей холодным из-за своей застенчивости.

То ли Коринна заметила душевное смятение Освальда, то ли сама была в таком состоянии, но, желая завязать беседу и рассеять неловкость, она поспешила спросить, познакомился ли он с какими-нибудь достопримечательностями Рима.

— Пока нет, — ответил Освальд.

— Что же вы делали вчера? — с улыбкой продолжала спрашивать Коринна.

— Я не выходил из дому, — сказал Освальд. — С того дня, что я в Риме, я видел только вас, сударыня, остальное время я проводил в одиночестве.

Коринна хотела было завести разговор о его мужественном поведении в Анконе.

— Вчера я узнала... — начала она, но, запнувшись, добавила: — Впрочем, я расскажу об этом позже, когда все соберутся.

Освальд держался с таким достоинством, что Коринна невольно приходила в замешательство; к тому же она опасалась, что не сумеет скрыть своего волнения при упоминании о его великодушном поступке, и решила, что на людях она будет спокойнее. Освальда глубоко тронула сдержанность Коринны и то, как она простодушно выдала себя, но чем больше он сам смущался, тем труднее становилось ему выражать свои чувства.

Вдруг он неожиданно встал и приблизился к окну; потом, испугавшись, как бы это движение не удивило Коринну, молча вернулся на свое место и уже окончательно растерялся. Коринна чувствовала себя в разговоре увереннее, нежели Освальд, однако и она разделяла его смущение; стараясь овладеть собой, она в рассеянности положила пальцы на арфу, стоявшую с ней рядом, и, сама того не замечая, взяла несколько аккордов. Эти гармонические звуки еще больше взволновали Освальда, однако они, казалось, внушили ему немного храбрости. Он уже осмелился взглянуть на Ко-

ринну, а кто же мог смотреть на нее и не быть потрясенным божественным огнем, пылавшим в ее глазах? И быть может, ободренный выражением доброты, сиявшей в ее взоре, Освальд заговорил бы, если бы в эту минуту в комнату не вошел князь Кагель-Форт.

Что-то кольнуло его в сердце, когда он увидел лорда Нельвиля наедине с Коринной; но князь привык скрывать свои чувства; эта привычка, которая зачастую уживается у итальянцев с бурной страстностью, возникла у него вследствие беспечности и прирожденной мягкости его характера. Он примирился с тем, что не занимает первого места среди привязанностей Коринны; он был уже немолод, очень умен, большой поклонник искусства и наделен достаточно богатым воображением, чтобы уметь разнообразить свою жизнь, избегая при этом тревог и волнений; потребность проводить вечера у Коринны была в нем так велика, что, если бы она вышла замуж, он вымолил бы у ее супруга дозволение навещать ее ежедневно, как прежде; при таком условии князь не чувствовал бы себя несчастным, даже видя ее связанной с другим. Сердечные страдания в Италии не осложняются муками уязвленного самолюбия; там можно встретить весьма пылких людей, способных заколоть соперника кинжалом, и чрезвычайно скромных, согласных довольствоваться второстепенной ролью подле женщины, с которой им приятно вести беседу; но там не встретишь никого, кто из боязни прослыть отвергнутым порвал бы дорогие ему отношения; ти-

рании общественного мнения над самолюбием не существует в этой стране.

Когда общество, собиравшееся каждый вечер у Коринны, было в полном составе – в том числе и граф д'Эрфейль, – разговор зашел о таланте импровизации, который так блистательно обнаружила хозяйка дома на Капитолии; потом спросили у нее, что она об этом думает.

– Ведь так редко можно встретить человека, – сказал князь Кастель-Форте, – равно способного к поэтическому воодушевлению и к логическому анализу, человека с душою художника и в то же время умеющего наблюдать себя со стороны; поэтому мы вынуждены умолять Коринну открыть нам, если это возможно, секрет ее таланта.

– Дар импровизации, – ответила Коринна, – встречается среди народов Юга столь же часто, как среди других народов – блестящее ораторское красноречие или умение вести оживленную беседу в обществе. Я бы сказала даже, что, к сожалению, нам легче сочинять экспромтом стихи, чем говорить хорошей прозой. Стихотворная речь так сильно разнится от речи прозаической, что с первых же произнесенных строк внимание слушателей поглощено теми поэтическими оборотами, которые как бы проводят грань между сочинителем и аудиторией. Власть, какую приобрела над нами наша поэзия, можно объяснить не только певучестью итальянского языка, но и могучей вибрацией его звонких слогов. В итальянском языке есть какая-то пленительная музы-

кальность, при которой слова доставляют наслаждение одним своим звучанием, почти независимо от их смысла; к тому же слова эти сами по себе живописны: они рисуют то, о чем говорят. Нельзя не почувствовать, что этот мелодичный и яркий язык развивался под безоблачным небом и среди прекрасных произведений искусств. Вот почему в Италии легче, чем где-либо в другом месте, увлечь слушателей красотой слов, не блистающих ни глубиной мысли, ни новизной образов. Однако поэзия, как и все искусства, обращается не только к чувству, но и к разуму. О себе я смею сказать, что никогда не выступала с импровизацией стихов, не испытывая истинного душевного жара, не загоревшись новой для меня мыслью; и я надеюсь все же, что несколько менее, чем другие поэты, полагаюсь на волшебную власть нашего языка. Он может, если мне позволено так выразиться, уже с первых своих звуков доставить уху наслаждение лишь прелестью ритма и гармонии.

– Значит, вы думаете, – перебил Коринну один из ее друзей, – что дар импровизации повредил развитию нашей литературы? И я так полагал, пока не услышал вас; вы заставили меня полностью переменить мое мнение.

– Я бы сказала, – ответила Коринна, – что способность легко и свободно слагать стихи породила у нас множество посредственных поэтических произведений. Но меня радует плодovitость итальянской литературы, подобно тому как глаз мой ласкает наша обильная земля, густо поросшая рас-

тельностью. Я горжусь щедростью природы Италии. Особенно трогает меня склонность к импровизации в простых людях: я люблю игру их фантазии, которую не сразу заметишь у других народов. Этот талант придает поэтичность жизни низших классов нашего общества, избавляет нас от неприятного чувства, которое вызывает все вульгарное. Когда лодочники в Сицилии обращаются к путешественникам со словами приветствия на своем благозвучном наречии, а потом, расставаясь с ними, произносят в их честь нежные прощальные стихи, нам невольно представляется, что чистое дыхание неба и моря действует на воображение людей подобно ветру, шевелящему струны эоловой арфы, и что поэзия, как и музыка, служит эхом природе. И вот что еще заставляет меня высоко ценить присущий нам дар импровизации: он не мог бы развиваться в том обществе, где любят насмешку; для того чтобы поэт мог отважиться на такое опасное дело, как выступить с импровизацией, надобно, я позволю себе так выразиться, атмосфера добродушия Юга или, вернее, тех стран, где люди любят веселиться, но не склонны критиковать то, что вызывает их веселье. Достаточно одной иронической улыбки, чтобы лишить поэта присутствия духа, необходимого для творческого подъема; ему надобно, чтобы слушатели разделяли с ним его восторг и воодушевляли его рукоплесканиями.

– Но вы сами, сударыня, – спросил наконец Освальд, который до сих пор молчал, не сводя глаз с Коринны, – какие из

ваших творений считаете вы лучшими: те, что явились плодом долгих дум или же – внезапного порыва вдохновения?

– Милорд, – ответила Коринна, и во взгляде ее засветилось чувство более теплое, нежели обычное уважение, – я предоставляю вам быть судьей в этом вопросе; но если вам угодно знать, что я об этом думаю, то признаюсь вам: импровизировать для меня все равно что вести оживленный разговор. Я не стесняю себя только одною темою: меня воодушевляет внимание, с каким меня слушают, и большей частью моего дарования, особенно в этом жанре, я обязана своим друзьям. Иной раз меня вдохновляет беседа, в которой затрагиваются возвышенные и важные вопросы, касающиеся нравственного мира человека, его судьбы, цели жизни, его долга, привязанностей; порою страстный интерес, внушаемый мне подобным разговором, придает мне силы и помогает мне открывать в природе и собственном моем сердце столь смелые истины и находить столь живые выражения, какие никогда бы не породило одинокое размышление. Тогда мной овладевает небесный восторг, и я чувствую, что во мне говорит нечто гораздо более значительное, чем я сама; нередко я отказываюсь от стихотворной речи и выражаю свои мысли прозой; иногда я вспоминаю прекраснейшие стихи на знакомых мне иностранных языках. Мне кажется тогда, что эти божественные строфы принадлежат мне, потому что ими проникнута душа моя. Порой я беру свою лиру и стараюсь передать в отдельных аккордах или в простых народных мело-

дях мысли и чувства, которые я не сумела облечь в слова. Наконец, я ощущаю себя поэтом не только когда счастливый выбор рифм и благозвучных слов или же удачное сочетание образов поражают моих слушателей, но когда моя душа устремляется ввысь, когда она с презрением отвергает все себялюбивое и низменное, когда я становлюсь способной на подвиг, – вот тогда мои стихи звучат лучше всего. Я бываю поэтом, когда я восхищаюсь, когда презираю, когда ненавижу, но все это не во имя моего личного блага, а во имя достоинства рода человеческого и во славу мироздания.

Тут Коринна спохватилась, что слишком увлеклась разговором, и чуть покраснела; обратившись к лорду Нельвилю, она прибавила:

– Вы видите, я не могу заговорить о том, что меня трогает, не испытывая при этом сильнейшего душевного волнения; но ведь в нем-то и кроется источник идеальной красоты искусства, благочестия одиноких душ, великодушных поступков героев, бескорыстия людей; простите меня, милорд, за это, ведь такая женщина, как я, отнюдь не походит на ваших соотечественниц, заслуживающих вашего одобрения.

– Кто же может походить на вас? – воскликнул лорд Нельвиль. – И можно ли предписывать законы женщине, равной которой нет?

Граф д'Эрфейль был вне себя от восхищения, хотя понял далеко не все, о чем говорила Коринна; ее жесты, голос, манера выражаться совершенно очаровали его, и он впервые в

жизни залюбовался нефранцузской красотой. Но по правде говоря, чрезвычайный успех, каким пользовалась Коринна в обществе, немало способствовал его восторгам, и, восхищаясь ею, он не оставлял удобной привычки руководствоваться чужим мнением.

– Согласитесь, дорогой Освальд, – говорил он, уходя с лордом Нельвилем от Коринны, – я все-таки достоин похвалы за то, что не пытаюсь ухаживать за такой прелестной женщиной.

– Но как будто все говорят, – возразил лорд Нельвиль, – что ей не так-то легко понравиться.

– Так говорят, – подхватил граф д'Эрфейль, – но мне этому верится с трудом. Не требуется много усилий, чтобы победить одинокую и независимую женщину, которая ведет образ жизни артистки.

Лорда Нельвиля неприятно задело это замечание. Граф д'Эрфейль, то ли ничего не приметив, то ли желая непременно высказать свои мысли, продолжал в том же духе:

– Это не значит, конечно, что, если бы я даже считал, что существует женская добродетель, я верил бы Коринне меньше, чем любой другой женщине. Правда, в глазах у нее гораздо больше выразительности, а во всех движениях больше живости, чем это полагается не только у вас, но и у нас, и можно усомниться в строгости ее правил; но она так умна, так глубоко образованна, наделена таким тонким тактом, что к ней нельзя применять обычных мерок, с какими судят о

женщине. Уверяю вас, она мне внушает большое уважение, несмотря на ее непринужденность в обращении и свободу в разговоре. Вчера я попытался было – стараясь ни в чем, впрочем, не посягнуть на ваши права – замолвить и за себя несколько слов; обычно это ни к чему не обязывает: вас выслушали благосклонно – прекрасно, не выслушали – не беда; но Коринна так холодно взглянула на меня, что я не знал, куда деваться от конфуза. Не правда ли странно – оробеть перед итальянкой, артисткой, поэтессой – одним словом, перед женщиной, с которой, казалось бы, можно чувствовать себя как нельзя более свободно?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Шла война, и приходилось избегать близости Франции и пограничных с ней местностей... – Победы, одержанные в 1794 г. революционной Францией над интервентами, открыли французской армии путь в Бельгию, Голландию и Рейнскую область.

2.

...увозите меня с собой из Германии... – Граф д'Эрфейль, находясь в Инсбруке, главном городе австрийской провинции Тироль, называет, однако, Австрию Германией, поскольку первая в описываемое время возглавляла так называемую Священную Римскую империю германской нации, продолжавшую свое существование до 1806 г.

3.

Левант (от фр. слова *Levant*, что значит «Восток») – старинное название стран, расположенных на восточном побережье Средиземного моря, главным образом так называли Сирию и Ливан.

4.

Римская Кампанья – пустынная равнина, в центре которой находится Рим.

5.

Дом инвалидов – ансамбль зданий с высоким собором, увенчанным огромным куполом, построенный в XVII в. в Париже для дворян – ветеранов войны; в дальнейшем Дом инвалидов стал военным музеем.

6.

...на площади, где возвышается колонна Антонина... – Эта колонна была воздвигнута в честь победы, одержанной римским императором Марком Аврелием (161–180) над германским племенем маркоманов. Ошибочная надпись, гласившая, будто эта колонна посвящена императору Антонину Пию (138–161), приемному отцу Марка Аврелия, появилась в конце XVI в., когда она была реставрирована по приказу папы Сикста V.

7.

...«пилигримы, которые отдыхают под сенью руин». – Слова из 8-й строфы стихотворения «Рим», написанного немецким ученым-филологом В. Гумбольдтом (1767–1835).

8.

...освященной именами Петрарки и Тассо... – В 1341 г. Петрарка был увенчан лавровым венком на Капитолии; Тассо должен был в 1595 г. получить ту же награду, но, не дождавшись дня торжества, в этом же году умер.

9.

...подобно приключению в духе Ариосто. – Имеется в виду поэма итальянского поэта Ариосто (1474–1533) «Неистовый Роланд» (1516), пленявшая читателей сложным переплетением причудливых эпизодов.

10.

Она была одета как сивилла с картины Доменикино. – На картине «Сивилла» итальянского художника Доменико Кампиери, по прозвищу Доменикино (1581–1641), изображена молодая женщина с тюрбаном на голове и в светлой накидке, наброшенной на плечи. Сивиллами в античной мифологии называли «пророчиц», вдохновленных богом.

11.

...месту, столь богатому воспоминаниями древности. – Капитолийский холм был крепостью и религиозным центром древнего Рима. На вершине холма находился храм Юпитера Капитолийского (или просто Капитолий) – главная святыня Рима.

12.

Il parlar che nell'anima si sente... – не совсем точная цитата из ССХІІІ сонета Петрарки. У него: E'l cantar che ne l'anima

si sente – «пение, которое слышишь в глубине души».

13.

Авзония – древнее имя Италии.

14.

...греки, искавшие в ней убежища, принесли с собой свои божественные сокровища... – После взятия Константинополя турками в 1453 г. греческие ученые, бежавшие из Византии, привезли в Италию много ценных античных рукописей.

15.

...отвага ее сыновей открыла новое полушарие... – Речь идет о Христофоре Колумбе (1451–1506), уроженце Генуи.

16.

...поэт... воспевший любовь, разбившую ему сердце... – Еще при жизни Тассо сложилась поэтическая легенда, будто причиной его душевной болезни была несчастная любовь к принцессе Элеоноре д'Эсте, сестре герцога Феррарского, Альфонса II, при дворе которого поэт жил много лет.

17.

...подобно его героям, приближавшимся к стенам Иерусалима. – То есть героям поэмы «Освобожденный

Иерусалим» (1575).

18.

...иные, более суровые подвиги навеки прославили его имя среди нас... – Речь идет о канцонах Петрарки «Моя Италия» и «Высокий дух», ставших боевыми гимнами патриотов, боровшихся за объединение Италии.

19.

Перголезе (Перголези) Джованни Баттиста (1710–1736) – итальянский композитор, автор произведений церковной музыки и создатель комических опер (опера-буфф), из которых наибольшей известностью пользуется «Служанка-госпожа».

20.

...от Ромула и до Льва Десятого... – Согласно традиции, Ромул основал Рим в 754 г. до н. э.; Лев X, пользовавшийся репутацией покровителя искусств и наук, занимал папский престол с 1513 по 1521 г.

21.

«Лилии не трудятся, не прядут...» – неточная цитата из Евангелия (Мф. 6: 28–29): «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая

из них».

22.

...кладут к ногам божества венок, который они не смеют возложить на его голову. – Парафраз двустихия Проперция.

23.

...на мосту Святого Ангела, ведущего к замку того же имени, вернее, к гробнице Адриана, перестроенной в крепость. – Этот мост, переброшенный через Тибр, был выстроен в 134 г. н. э. императором Адрианом (117–138). Замок, стоящий за мостом на правом берегу Тибра, – начатый постройкой в 135 г. н. э. Адрианом и законченный Антонином Пием, – служивший в древности усыпальницей императорам, был превращен в крепость в начале Средних веков. Статуя Адриана, венчавшая раньше здание, была заменена тогда фигурой ангела с мечом, откуда и название этого сооружения. Папы, а затем итальянские короли использовали замок Святого Ангела как политическую тюрьму.

24.

Транстеверинская сторона (иначе «Трастевере») – старинная часть Рима, расположенная за Тибром, на его правом берегу.

25.

Кто она – Армида или Сафо? – Армида – героиня поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим» – прекрасная волшебница, чье имя стало нарицательным для обозначения обольстительной ветреной красавицы. Сафо – греческая поэтесса (VII–VI вв. до н. э.), воспевшая любовь как глубокое пламенное чувство.